**КАЗАК И ПТИЦЫ**

   Давным-давно в одной из станиц Кубанской области жил казак по имени Сашко. И так как война с турками в то время прекратилась, Сашко аккуратно сложил казацкое обмундирование в шкаф, ружье и шашку поставил в угол и занялся земледелием.

   Он пахал землю и сеял зерно, собирал урожай и молол муку, выпекал душистый хлеб и варил крепкую кубанскую горилку. Сашко достаточно преуспел в этом деле и прославился на всю свою станицу соседние поселения. Со всей округи съезжались казаки к его дому за мягким хлебом и крепкой горилкой.

   Но случилось однажды у казака большое несчастье. Стояла тогда на Кубани засуха, пекло солнце и жара была невыносимая. Вспыхнул в той станице пожар, и погорели почти все деревянные постройки в казачьих дворах и лишь глиняные хаты да сараи уцелели. А у Сашка на земле сгорела почти вся пшеница, но немного ему все же удалось спасти. И набралось у него зерна всего мешок.

   Прошла осень и наступила зима. И стужа стояла такая, какой в Кубанской области казаки еще не видали. Даже река Кубань – быстрая и бурлящая – покрылась льдом от берега до берега, чего никогда не бывало.

   Надел Сашко тулуп из овчины и вышел во двор поглядеть, что там делается. Набил люльку табаком, закурил и видит: кругом все снегом заметено, а на белых деревьях птицы сидят и не шевелятся, замерзают.

   Жалко ему стало бедных птиц. Пошел он, соорудил для них кормушки деревянные и насыпал по две жмени зерна в каждую. Налетели птицы на пшеницу, стали клевать да насыщаться. А птица когда не голодная, ей и тепло и не замерзнет в лютый мороз.

   С этого дня стал казак каждый день в кормушки для птиц по две жмени зерна сыпать, хотя сам он обеднел и перебивался с хлеба на квас.

   Так и прошла зима, и в последний ее день высыпал Сашко птицам последнюю пшеницу из своего мешка и только сейчас заметил, что весь свой запас птицам скормил. Сидит казак, пригорюнился, курит люльку и думает: “Теперь и есть нечего и сеять на земле нечего”.

   И вот пришла пора посевной. Сидит Сашко в хате, слышит – шум, гам да удивление соседей на улице. “Что такое?” – думает, и вышел во двор.

   Глядит, а над его землей стая разных птиц кружится. Среди них и голуби, и скворцы, и воробьи, и множество других птиц, и каждая делом занята – бросает зернышко в землю и улетает куда-то далеко за реку Кубань и так много раз.

   Казаки со всей станицы собрались, смотрят и удивляются, никогда не видели, чтобы птицы кому-либо огород засаживали.

   А Сашко в тот год зерна собрал немерено, даже пришлось новый амбар построить. И стал после этого он жить в постоянном достатке, а затем взял в жены самую красивую девушку в Кубанской области и родилось у них много казачат. И были они счастливы до конца.

   Продолжения пока нет…

**КАЗАЧЬИ СКАЗКИ**

   **Виноградная лоза**

   **Горе-злосчастие**

   **Казак и судьбина**

   **Казак Чигин**

   **Лебедь**

   **Лихо одноглазое**

   **Лобаста**

   **Митяй – казак бесстрашный**

   **Оборотень**

   **Огненный змей**

   **Своенравная жена**

   **Сестрица Аленушка и братец Иванушка**

   **Суженая**

   **Султанская дочь**

   **Якуня и Матюша**

**Виноградная лоза**

   В одной станице жила-была девица по имени Полина. До чего ж красовитая! И гордейка такая, что свет не видывал. А во всякой гордости черту много радости.

   Сколько она молодых парней сгубила, трудно и сосчитать. Казачины в летах, особенно вдовые, и те пытались счастья у нее искать. Да где там! Как только казак начинает около ее окон ходить, глаза мозолить, она ему сразу задачку неисполнимую задает. Разводит руками казак: мыслимо ли дело такой каприз сполнить. А она смеется: любишь-де – сполнишь. Посмотрим, какая твоя любовь на проверку выйдет. Взыграет в казаке ретивое. Кровь в лицо кинется. Казак – он и есть казак. Он не мужик: для него девица – крепость, ее надо завоевать или голову сложить.

   И все: пропал казак.

   А Полина новые каверзы придумывает. Одна хлеще другой. Откель они ей в голову приходили. Вот такая была девица: черта слопает да лешаком закусит и не поперхнется.

   Приехал тут в станицу один пронзительный офицер. Встал на постой. Видать, ему паек хороший шел, вот и баловался с девками. Словесами их улещивал да охаживал. А девки, известное дело, глупы, как перепелки, на разговор идут.

   Повстречал он случаем Полину, и язык у него к небу прилип. Хочет чтой-то сказать. Запинается. Слова свои ситцевые подрастерял. Стоит перед Полиной дурак дураком. С таким-то и разговаривать зазорно.

   Засмеялась Полина.

   – Эк вас проняло.

   И пошла дальше.

   А офицер к себе побег. Надел для пущей помпы новый мундир. И к Полине направился. Руку с сердцем предлагать. Перед ней любезностями рассыпается. Ножкой шаркает.

   Полина ему и говорит:

   – Что бестолочь сыпать. Мужество свое изощрить не хотите ли?

   – С первым удовольствием.

   – Ну, слушайте тогда задачку…

   В тот же день уехал офицер. Только его и видели. Как в воду канул.

   Раз встречает Полину подружка. Вместе когда-то хороводили да венками менялись. Та уж замужем давно. Сын ее, Афоня, у подола вертится. Подружка говорит:

   – И старость тебя не берет. Смотри, как я усохла.

   Засмеялась Полина, собой довольна.

   – Шелк не рвется, булат не сечется, красно золото не ржавеет.

   – Все до поры, – говорит подруга, – вянет и красный цвет. Нечего капризы выставлять.

   Наше дело – детей рожать. Пора тебе и преклониться к кому-нибудь.

   – А я, – говорит Полина, – твово Афоню обожду. Покеда подрастет. К нему и преклонюся.

   Глянула мать на своего сынка. И сердце обмерло. Таращится он на Полину во все глаза. Схватила она его на руки и в бега вдарилась. От Полины подалее.

   А та руки в боки и в хохот.

   С тех самых пор Афоня все норовил около Полининого дома играться. Смеялась Полина, вона мой жених хворостину оседлал, на мои окошки поглядывает.

   Смех смехом. А время шло. Не шло – летело. Вошел Афоня в возраст. Пришла и его пора у Полины счастья спытать. Надел он чистую рубаху. Голову маслом помазал. Волосы расчесал гребешком. И к Полине объявился.

   Смотрит она на Афоню. Экий казачина вымахал. Казистый да осанистый. Пригож, чего тут говорить. Пробежала у Полины по сердцу дрожь. А с чего бы вдруг?

   – Свататься, знать, пришел?

   – Ага, свататься, – отвечает Афоня. – Давай свою задачу.

   – А сполнишь?

   – Сполню. Нет мне отступу.

   – Тогда слушай, – говорит Полина. – Слыхала я от знающих людей, что произрастают на Капказе ягоды чудные, виноградарьем зовутся. Добудешь – мы с тобой тотчас оженимся.

   Ушел Афоня.

   И сгинул. Ни слуху о нем, ни духу.

   Затомилась Полина. Первый раз в жизни такое. По ночам не спит, в постели мечется. Думает: «Рок мне такой выпал, иль я его сама себе придумала».

   А тут один за другим Афонины родители сошли в могилу.

   Собралися казачки в круг. Лопнуло их терпение. Стали совет держать. Кричат: «Ей-то полгоря, а нам каково? Была бы война, а то так, не за ломаный грош извела казаков. Обуздать ее так, чтоб лихоматом ревела».

   Порешили бабы согнать Полину со станицы. И каменьями побить.

   Решили – так и сделали.

   Идет Полина по дороге побитая, живого места на ней нету. Видит, под курганом человек лежит. И ворон над ним вьется. Подошла поближе, а это Афоня, друг ее сердечный, весь изранетый. Жизнь его, похоже, к концу подходит.

   Заплакала Полина. Голосом завыла. Припала к Афоне. Впервые за многие годы жаль ее так разобрала.

   Он ей и говорит:

   – Сполнил я-таки твою задачку. Вытащил из-за пазухи веточку сухую.

   – Если, – говорит, – эту веточку посадить, на ней ягодка сладкая вырастет.

   И в беспамятство впал.

   Огляделась Полина, сушь окрест стоит несусветная. В груди тоска неразмытая. Жар на нее навалился. Голова закружилась. Прилегла она рядом с Афоней, словно в бреду.

   Долго ли, коротко ли времени прошло, очнулся Афоня. Над ним виноград гроздьями висит. Неподалеку родник бьет. Видит, девчушка у лозы стоит, ягоды на нитку нанизала да на шею свою вместо бус навесила.

   – Ты кто такая? – спрашивает ее Афоня.

   – Я не тутошняя, – отвечает девчушка. – Я зашедшая. Из далека.

   – Ты здеся никого не видала? – спрашивает Афоня.

   – Не-ка, не видала, – отвечает девчушка.

   Привстал казак. К осени дело идет. Полынь дух свой отдает. Да такой горьковатый, что печалит сердце.

   – Ты кушай ягодку, – говорит Афоня, – дюже она вкусна.

**Горе-злосчастие**

   Вот народился у казачки сын. Да народился, видать, в недобрый час, в минуту неталаную. Перевязывала повитуха ему пуповину – оборвала нить. Дурная примета – злосчастный ребенок будет, горемыка да бедоноша.

   Заголосила мать, кинулась к гадалке, что да как – про судьбу своего ребенка узнать.

   А та ей и говорит:

   – Нить жизни его суровая, узловатая, опутывает, словно сетями, налягает на него тяжелой обузой. Не будет у него в жизни радости.

   Поплакала мать, поплакала. А что делать? Жить-то надо.

   Нарекли ребенка Кузьмою. Намаялась с ним мать, что и говорить. Пока мал был Кузьма, не понимал, что ему горькая долюшка выпала. Дите, оно и есть дите. Каждое утро хотел Кузьма с правой ноги встать, а вставал с левой. Захочет матери что-нибудь по домашности помочь, дак все наоборот выходит. Иль горшки разобьет-расколотит, иль хуже того – себя поранит. Однажды приходит он к матери весь в слезах и спрашивает, отчего у него нойка на сердце.

   Залилась мать слезами:

   – Зародился ты в ту звезду бесчастную, в лихую годину. Нет тебе талану на роду…

   После этого случая совсем духом пал Кузьма: злая змея на сердце залегла.

   Вырос он жидким да слаботельным. Говорили про него: не казачьего роду… Ну что ж, в хлебе не без ухвостья. Терпели Кузю в станице: кто жалел, а кто и подсмеивался над ним, да не в зло. Он тож дружбы ни с кем не водил, одиночествовал. От людей прятался. Солнышко к закату потянулось, и Кузя на завалинке объявлялся. Молодой еще, а повадки стариковские заимел.

   В той же станице жила дочка атамана Дарья. И личиком бела, и с очей весела. Огонь-девка, живому черту глаза колет. Отцова любимица. Вздыхал атаман: «Эх, жаль, что девка. Такой бы казак вышел». Сватов отгонял, свою дочку высоко ставил. Хотел мужа ей найти, чтоб по ней был.

   Вот как-то раз проходила Дарьюшка с подружкой мимо Кузиного дома, увидела его на завалинке и запало ей что-то в душу: возьми да спроси, а это, мол, кто такой? Чтой-то раньше я его не видывала.

   А подружка ей в ответ удивляется.

   – Сколько разов мимо проходила и только заприметила. Да это Кузя-горедушный.

   – А от чего горедушный? – спрашивает Дарьюшка.

   – Кто-ить знает. Так люди меж собой гутарят. Да вона вишь сидит, развесил печаль по плечам, сам собой любуется.

   Разобрало Дарьюшку любопытство.

   – Давай подойдем к нему, – говорит.

   – Да ну, – отвечает подружка и руками замахала, – с ним тока тоску разводить.

   Дарьюшка Дарьюшкой бы не была, если б на своем не настояла.

   Подошли они к Кузе. А тот и глазом не ведет. Сидит горюн-горюном. Об чем-то думу думает.

   – Об чем твоя печаль-забота? – спрашивает Дарьюшка.

   Поднял голову Кузя. Видит, перед ним две девки стоят. В смущение вошел.

   – Да вот, думаю, разбежалось мое счастье по сучкам да по веточкам.

   – А что так? – допытывается Дарьюшка.

   – Так рок судил. Так, знать, на роду написано.

   Интересно стало Дарьюшке: никогда об этом так не думала. А подружка ее прочь тянет, говорила, мол, тебе, разведет тут скуку этот Кузя. Дарьюшка и говорит ему на прощанье:

   – Приходи на посиделки, у нас весело.

   – Ладно, – сказал Кузя и лицом вроде бы как просветлел.

   Подружка Дарьюшки так и прыснула со смеха! Отошли подальше, она прям зашлась от хохота. Здорово, мол-де, ты над ним подшутила.

   – А я не шутила вовсе, – говорит Дарьюшка и от досады брови нахмурила.

   Прикусила язычок подружка, да не надолго. К вечеру вся станица знала, что Кузю-горемыку на посиделки пригласили. Разыгрывает Дарья Кузю, всего-то дел.

   Ближе к вечеру собрался молодняк на посиделки. Дарья как всегда на первом месте: и поет, и пляшет, и в игрища играет – весела да радостна. И никому невдомек, что она ждет-пождет Кузю, да так, что сердце у нее сладко замирает. И сама-то не понимает, что с ней такой-чи происходит. Наконец-то дождалась она Кузю. Идет тот и спотыкается на ровном-то месте. Молодняк присмирел. Ждут, как дальше комедь разыгрываться будет. Дарья к Кузе подошла, за руку взяла.

   – Сядь, – говорит, – опочинься и ни о чем не кручинься.

   – Легко сказать, – отвечает Кузя. Вздохнул горестно и присел вместе с Дарьюшкой.

   – А как в народе говорят: кто в радости живет, того кручина не берет.

   – Эх, Дарья-Дарья, не знаешь ты еще горя, не ухватывала тебя нойка за сердце.

   И опять завздыхал Кузя. А Дарьюшка никак не угомонится.

   – Что ж тебе радоваться неохота?

   – От чего ж? – удивился Кузя. – Охота смертная, да участь горькая.

   Парни тут дурить стали. Обидно им, что Дарьюшка Кузе такую честь оказывает.

   – Гляка, гляка, как она к нему липнет.

   – Вот так пара!

   – А Кузя-то, кочетом себя ведет.

   Обсмеяли их, обхохотали. Подхватилась Дарья, взяла Кузю за руку.

   – Пойдем, – говорит, – отсель.

   Вздохнул Кузя:

   – Вишь, злости сколько в людях.

   – Эко, горе.

   – То-то ж, что горе.

   И пошли они. Где слово какое друг дружке скажут. А где и помолчат. Только хорошо им было вдвоем. А на прощанье договорились еще встретиться. И встречались еще. А дальше больше, друг без дружки вроде как и обойтись не могут.

   Вот как-то сидят они на берегу Дона. Хорошо Кузе с Дарьюшкой. Когда с ней рядом, вроде отступает от него кручина. Взял он сухую палочку и бросил в воду. Покружила-покружила палочка и камнем на дно пошла. Запечалился Кузя: и что ж я такой злосчастный. Заприметила это Дарьюшка. Взяла незаметно камень. И говорит:

   – Смотри, и у меня потонет. И бросила в воду. Глядь, а камень поплыл. Не по себе стало Дарьюшке. А Кузя совсем омрачился.

   – Эх, не бывать нам с тобою в этой жизни никогда.

   Помолчала Дарьюшка, а потом и говорит:

   – Взойдет солнышко и на наш двор. А ты меня сосватай.

   Удивился Кузя, слов нет.

   – Я не могу, – говорит.

   – От чего ж?

   – Если и отдадут тебя за меня, то все одно – я с тобой жить не смогу.

   – От чего ж? – допытывается Дарьюшка.

   – Мне будто кто-то ноги сводит и руки назад вяжет, – говорит Кузя. – Так оно выходит, что моя любовь горькая к тебе.

   Досада Дарьюшку забрала.

   – Иль, – говорит, – себя переможешь, иль я с тобой встречаться боле не буду. Поднялась и ушла.

   Посидел Кузя на бережку, посидел. И поплелся домой. Приходит и говорит матери:

   – Жениться хочу.

   Мать посмотрела на него недоверчиво.

   – На ком?

   – На Дарье, – отвечает Кузя.

   – Эх, хватил! Дочь атамана. Ты дерево по себе руби.

   Уперся Кузя. Первый раз мать его таким увидела.

   – Она мне в совесть, и я ей тож.

   – Это она тебя надоумила? Смеется она над тобой.

   – Не до смеха нам…

   И завздыхал Кузя горестно.

   А может чо и выйдет. Пошла мать к свахе. Объяснила, что и как. Та аж рот раззявила от удивления. Мыслимо! Кузя и Дарья. И ни в какую не соглашается. Атаман характером был крутоват, скольким сватам от ворот поворот давал. Срамиться-то кому хочется.

   – Да ты только проведай, – упрашивает ее мать. – Закинь удочку. От чужого стола не зазорно и повернуть.

   Подарков ей мать насулила. Согласилась-таки сваха.

   – Ладно, – говорит, – вечером сбегаю, как стемнеет, чтоб от людей стыдно не было.

   Обещание свое сваха сполнила вточности. Как стемнело, пришла она к атаману. Тот уж вечерять собрался.

   О том, о сем зубы заговаривала сваха, все-то духом не решалась сказать, зачем пришла.

   – Давай выкладывай, зачем явилась, – говорит атаман. – А то ходишь все вокруг да около.

   Помялась сваха и зачастила:

   – У вас есть товар красный, а у нас купец славный.

   Смекнул атаман, в чем дело. И отвечает с неохотой. Как положено:

   – Был бы купец хорош, товару залеживаться не к чему. Кто таков?

   – Купец-молодец Кузя.

   – Кузя? Купец! Да в своем ли ты уме?

   Сваха раззадорилась. Все одно – позор на свою голову накликала.

   – Надо бы дочь спросить.

   – Когда надо, сам спрошусь!

   А тут Дарья выходит. Своевольница.

   – Отдай меня за Кузю. И на колени бух.

   – В совесть он тебе штоль?

   – В совесть, – отвечает Дарья твердо.

   – Дочка-дочка, не накормить коня сухопарого, не наделить человека бесчастного.

   – Я наделю, – говорит Дарья. Атаман в гнев вошел.

   – Значит, правду про вас в станице несут. Ну, погоди. Уйдешь самовольно, я с тебя и крест сниму.

   Так и умелась сваха ни с чем.

   Мать Кузю утешает как может. Отказ, мол, жениху не бесчестье. Жених, мол, как нищий, в один дом пришел – не удалось, пошел в другой…

   Кузя ее утешения не слушает. У него думы о другом. Совсем парень в отчаянье вошел. Взял незаметно веревку и на зады пошел, там где дерево росло. Привязал он веревку к суку, встал на пенек, надел петлю на шею, простился с белым светом и с пенька сиганул. А сук возьми и обломись. Вроде как толстый сук. И дерево не гнилое. А обломился – и все тут.

   – Эх ты, лютая смерть, неупросливая, неподатливая, – загоревал Кузя. – Значит, рубашка для меня еще не сшита.

   Если не время умирать, то как жить, что делать? Не знает Кузя.

   Поплелся Кузя к дому атамана. Вот идет он, а кубыть кто-то его в сторону уводит. Дошел, наконец, присел около ворот. Вдруг вышел сам атаман, отец Дарьин. Увидел Кузю, запенился аж, кипельный сделался. Спрашивает с ехидцей:

   – Вы сюда по делу или для легкого воздуха?

   – По делу, – промямлил Кузя.

   – Вы, что ж, свой антирец имеете?

   – Имею, – отвечает Кузя, – с Дарьей свидеться хочу.

   – Нельзя!

   – Отчего ж нельзя? Я к ней со всей душой.

   Атаман мясами дюже одержимый был. Лапища такая, что, увидев, страх берет. Послал он благим матом Кузю по ухабистой дорожке.

   – Не был бы такой квелый, – кричит, – навалил бы я тебе вот этим батиком. Баранья твоя башка, иди отседа от греха.

   Встал Кузя, всей душой горем задетый. И диву дивится: ноги его сами несут от Дарьиного дома подалее.

   Через какое время приходит ему весточка от Дарьюшки. Передала ее верная подружка. Мол, ждет она своего милого дружка Кузю в полночь у дуба, и если не придет, то не увидит Дарьюшки никогда, приходили-де сваты, и отец согласье дал.

   Дождался полночи Кузя и пошел на околицу к дубу одинокому, чтобы встретиться с милой Дарьюшкой. Кругом темень, хоть глаз коли, ничего не видать. Шел-шел, шел-шел. Вроде как из станицы вышел, собачьего бреха не слыхать, а дуба все нет и нет. Назад повернул.

   Сбился с дороги Кузя, зашел в какие-то кущи непролазные. Знать, так рок судил, так суждено. И пошел Кузя свою смертыньку искать, чтоб прибрала она его поскорее.

   А Дарья к полночи поближе с постели встала, из хаты вышла, ни едина половица не скрипнула. Дверь затворила тихонечко. На конюшню зашла, своего любимого Воронка оседлала, тряпками копыта обмотала. Задами коня вывела. И к одинокому дубу направилась.

   На обусловленном месте ждет-пождет милого дружка. Ан-нет Кузи. Уж звезды блекнуть стали, а Кузи все нет. Радость у Дарьи на убыль пошла. Думки всякие одолели. Не может быть такого, чтоб Кузя от нее отказался. Видать, от горя попал в беду.

   «Домой мне все одно возврату нету, поеду-ка я Кузю искать, из беды его, родного, выручать», – решила Дарья, И поехала куда глаза глядят.

   В полдень видит Дарья в мареве, каменная девка чикиляет. «Може, – думает, – она что про Кузю знает». Догнала Дарья каменную девку, о Кузе спрашивает. Приподняла каменная девка каменные веки: храбра казачка, не убоялась ее и говорит:

   – Окажи услугу. Надои у меня каменного молока, тогда скажу.

   Удивилась Дарья: вот так задача. У девки! Да еще каменной! Надоить каменного молока! Где это слыхано?

   Слезла Дарья с коня. Обошла каменную девку вокруг: не знает как к ней подступиться. А потом была не была! Ухватилась за каменные титьки и давай туды-сюды тягать. Не поддаются титьки, словом, каменные они. Ободрала Дарья руки в кровь. Вдруг видит: чудо! Брызнула струйка серая из одной титьки, упала на землю и превратилась в камень. Брызнула струйка из другой титьки, тож в камень превратилась. И пошло дело.

   Каменная девка только успевает поворачиваться. Всю землю вокруг каменьями засыпала.

   – Ну, будя с тебя, – говорит каменная девка, – видать, ты под счастливой планидой родилась.

   А Дарья в ответ:

   – Услуга за услугу.

   – Кузя твой в обратной стороне, – говорит каменная девка. – Вяжет его Горе-Злосчастие по рукам и ногам и подале от тебя уводит.

   – Какое Горе-Злосчастие? – забеспокоилась Дарья. – Я ни разу его не видала.

   – Ну, это не мудрено: довольно взглянуть на Кузю через правое ухо твоего коня.

   Обрадовалась Дарьюшка, хотела каменную девку приобнять, да та опять зачикиляла по своим делам.

   Теперь у Дарьюшки задача: Кузю-горемычного отыскать. Поворотила она коня на обратный путь.

   Долго ли, коротко ли, нагоняет Дарьюшка Кузю. Идет он пешки, спотыкаясь, горемилый ее. Слезла Дарья с коня и посмотрела в его правое ухо. Батюшки мои! Свят-свят! Что она там увидела.

   Горе-Злосчастие тонешенько, чернешенько, голова у него малым-малешенька, с наперсточек будет, туловище не спознать с соломиной, лычком связанное, подпоясанное, мочалами ноги изопуталися.

   Бежит оно впереди Кузи и чертит что-то на дороге: судьбу его изменяет. То кругами вокруг него ходит: темнеет от этого у Кузи в глазах; то камень ему под ноги катнет – спотыкается Кузя; то на него запрыгнет, сядет на шею – согнется Кузя в три погибели; то к самому сердцу припадет – застонет Кузя, закручинится… Хочет назад поворотить, а Горе-Злосчастие ему не дает.

   Захолонуло сердце у Дарьюшки, на такое глядючи. «Ну, – думает, – погодь, мерзавка ты, эдакая, расправлюсь я с тобой».

   И поехала за ними вслед, чтоб только из виду не потерять.

   На перекрестке дорог, у бел-горюч камня остановился Кузя, прилег под кустиком и вроде бы приснул.

   Глянула Дарья через правое ухо коня на своего бедоношу милого. И видит: забралось Горе-Злосчастие ему на грудь да чтой-то нашептывает. Вздрагивает Кузя во сне, душа его криком кричит, стонет, мечется.

   Призадумалась Дарьюшка, как ей Кузю от Горя-Злосчастия освободить. И хлоп – придумала! Подошла она поближе к Кузе, расстелила тряпочку, приготовила нитку с иголкой. И говорит:

   – Горе-Злосчастие, покажись-объявись.

   А то молчок, затаилось. Трусливое, видать, это самое Горе-Злосчастие.

   Замечает Дарья: успокоился Кузя, заснул глубоким сном.

   Что делать? Чем бы Горе-Злосчастие замануть? Выплела Дарьюшка из косы ленту, такую красивую. И говорит:

   – Хошь, ленту подарю?

   И положила ее на траву около себя. Глядь, исчезла лента.

   – Ну покажись-объявись, – просит Дарья. А Горе-Злосчастие – ни гу-гу. Сняла Дарья колечко.

   – Хошь, перстенек подарю, тока объявись.

   Раз! И Горе-Злосчастие из рук перстенек вырвало.

   И хихикает, злорадствует.

   Расстроилась Дарья, дарить больше нечего. Схватилась за голову. Ба! Еще платок остался. Сняла платок, расстелила на траве, а сама за один край крепко его ухватила.

   – Хочешь, говорит, – платок подарю, не простой, узорнотканый, тока объявись, очень тебя прошу.

   Горе-Злосчастие хвать платок.

   А Дарья его держит.

   Горе-Злосчастие на себя его тянет.

   А Дарья на себя.

   – Отдай платок! – кричит Горе-Злосчастие.

   – Не отдам, – говорит Дарья. – Ни за что не отдам. Порвем платок. Какая тебе польза будет.

   Отпустило Горе-Злосчастие платок и спрашивает:

   – Тебе каким манером показаться?

   – А каким ты можешь?

   – Дык, я в любом виде могу объявиться.

   – Ды не сможешь.

   – А вот и смогу!

   – Ды не сможешь!

   – Смогу!

   – Завейся тогда веревочкой.

   Глядь, веревочка завитая на тряпочке лежит. Схватила Дарья веревочку. Завязала в три узла. В тряпочку завернула. И зашила.

   Ругается Горе-Злосчастие, грозится страшными карами.

   А Дарье одна дума: куда эту треклятую тряпицу деть. Сердце заходится, в висках стучит. Неужель удалось Горе-Злосчастие провести.

   Видит, бел-горюч камень у дороги лежит. Еле-еле отворотила Дарьюшка его, бросила под него тряпицу с Горем-Злосчастием. Ух! Дух бы надо перевести. Глядь, а камень покраснел, как маков цвет, и развалился пополам.

   Схватила Дарья тряпицу, подбежала к дубу столетнему и кинула ее в дупло. Закачался дуб, затрещал, вот-вот упадет. Вытащила Дарья тряпицу из дупла. Побежала к Дону и бросила ее подале в воду.

   – Поразмыкай Горе-Злосчастие, Дон ты наш, батюшка!

   И на колени упала.

   Пошло Горе-Злосчастие камнем на дно. Забурлила вода. Застился туманом Дон. Вышло тут солнышко из-за туч, подул ветерок, развеял туман. И успокоилась река. Приняла, знать, Горе-Злосчастие на себя.

   Поклонилась Дарья Дону-батюшке. Полегчало ей на душе. Справилась-таки она с Горем-Злосчастием. Пошла к своему Кузе милому. А тот спит себе, разметался. Хорошо ему, видать, сладко спится.

   Умаялась Дарья. В сон ее потянуло. И прилегла она рядом с Кузей.

   Сквозь сон чувствует Дарьюшка, целует ее кто-то. Глаза открыла, а это Кузя ее жарко обнимает.

   – Вставай, – говорит, заждался я тебя.

   Да голос такой уверенный, диву даешься.

   Глядит Дарья на него во все глаза. Сила в Кузе большая. Откуль?

   А тот кудрями тряхнул. (Сроду у него кудри-то не вилися.) И говорит:

   – Вставай, лебедушка. Нам в станицу засветло надо попасть.

   Встала Дарья. Кузей любуется: ее рук дело. А Кузя коня споймал, вскочил в седло. Опять Дарье удивление: вот тебе и мешковатый Кузя, вот тебе и бедоноша.

   Кузя подхватил ее наперед себя и поехали. Народ на улицу высыпал. И атаман со двора вышел. Видит, Дарьюшка едет. А рядом с ней казак. Молодцеватый. Как влитой в седле сидит. Ну, Дарья, ну и девка! Нашла, знать, по себе муженька. Да как песню играют. Как красиво выводят. Подъехали они поближе. Да не как это Кузя! Ах, так раз так! Кузя – он и есть. Досада взяла атамана, батиком, как шашкой, заиграл. Спрашивает:

   – Это ты никак, Кузя?

   – Нет, – отвечает казак, – не Кузя, а Кузьма, прошу любить и жаловать.

   Остепенился атаман, народ на него смотрит.

   – Ну, если Кузьма, тогда засылай сватов.

**Казак и судьбина**

   Жил-был Казак. Скучно ему дома сидеть. Томно. Вот решил он белый свет поглядеть да себя показать. Оседлал коня и поехал.

   Ехал-ехал. Видит, на перекрестке трех дорог кабак стоит. «Зайду, – думает, – передохну перед дальней дорогой». Сел за стол.

   Поел-попил. Видит, к нему старик подсаживается. Посмотрел на него Казак, вроде как где-то видались. И спрашивает:

   – Не знакомцы ли мы с тобой? А старик отвечает:

   – Я – Судьбина твоя.

   Смотрит Казак на Судьбину свою, разглядывает. Седой, старостью скрюченный… На лице шрамов не счесть. Из мутных глаз слезы точатся. Заныло сердце у Казака. Страшно стало.

   Судьбина усмехается:

   – Вишь, – говорит, – Казачок, что тебя впереди ждет. Мой тебе совет – возвертайся домой, а то плохо тебе будет. Много горя примешь.

   Расстались они. Поехал Казак домой. Растревожил душу Судьбина. «Ох, – говорит, – не будет мне покоя дома. Должон я знать, что меня в этой жизни ожидает». Развернул коня и поехал куда глаза глядят, лишь бы от дома подальше.

   Много времени с тех пор прошло. Состарился Казак, чувствует, что жизнь в концу подходит. «Заеду, – думает, – в тот кабак, где Судьбину встретил». Через порог переступил, глядь, а тот уже в кабачке сидит, ждет-поджидает.

   Выпили они за встречу.

   – Ну что, Казачок, – говорит Судьбина, – понюхал, почем фунт лиха?

   Казак головой кивает, соглашается.

   – Да, – говорит, – твоя правда была, много горя принял.

   – Не жалеешь, что меня не послушал?

   – Нет, – говорит Казак, – не жалею, что ж о прожитой жизни жалковать. И вздохнул. А Судьбина дальше пытает.

   – А если б, – говорит, заново жизнь повернуть, согласился бы? Казак подумал.

   – Нет, – говорит, – не согласился бы. Моя жизнь мной прожита.

   И выпили они по второй рюмочке.

   Дивятся на них люди, думают, что родные братья беседу ведут, до того похожи. Посмотрел Казак на Судьбину внимательно и усмехнулся. Судьбине это не по нраву.

   – Ты, – говорит, – что усмехаешься. Если есть что на душе, скажи, не держи.

   – Глаза у тебя, – говорит Казак, – светом полны, не то что давеча. Вот я и смекаю, знать, и мне в этой жизни удача была.

   Помолчал Судьбина и говорит:

   – На этот раз правда твоя, Казак. Жил ты по совести.

   И выпили они по третьей рюмочке.

**Казак Чигин**

   Дело было на Капказе. Еще в ту турецкую войну. Менял полк позицию. И попал в гибельные места.

   Где свои, где чужие, даже сам полковник Веревкин понять не может. Кончился фураж и провиант. Долина голая, камень да песок. В горах неприятель засел, постреливает. Охотники за провизией сгинули. Ни слуху, ни духу о них. У казаков последние сухарики давно подобрались. Палатки ветер полощет, от зноя плохая защита.

   Вызывает полковник Веревкин к себе в палатку казака Чигина.

   – Вот, – говорит, – братец, послал я охотников за провизией к неприятелю, а курьера – к своим, и ни слуху от них, ни духу. Одна надежа на тебя осталась.

   Чигин отвечает:

   – Можете не сумлеваться, ваше скородь, что надо, сделаем.

   – Бросать с языка, а не с сундука, – говорит полковник.

   – У каждого человека своя перегородка, – отвечает казак.

   Покрутил полковник головой: не любы ему казачьи речи.

   – Не зарывайся, – говорит.

   – Смельство кандалы трет, смельство мед пьет, – отвечает Чигин.

   – Коли эвдак, – говорит полковник, – не мешкай немало, отправляйся в путь.

   Оседлал Чигин своего маштака и отправился в путь. Едет, едет, солнце в зените. От такой жары, кажись, камни полопаются. Набрал Чигин по склонам гор травинок, в рот засунул, пожевал, чтобы жажду сбить. Пососал. Да где там. Кушать захотел так, что подвело живот к ретивому сердцу. Круги пошли перед глазами.

   Вдруг видит, всадник вдали объявился. Никак турок! Иль помнилось? Точно, всадник. Чигин своего маштака в шенкеля к нему направил: куда кривая выведет. Всадник завидел погоню – и деру. Чигин за ним, Поотстал. «Ничего, – думает, – казачий конь на даль берет. Все одно, не уйдешь».

   Вдруг тень занялась ужастенная. Тутоко треск начался, вихорь песок поднял до небес. Потом все враз прошло. Солнышко засветило, небо очистилось. Облегчение. Крутит, вертит головой Чигин: нет всадника. Ушел, знать. Речка журчит. По камешкам-песочкам воды свои перекатывает. Вода тока мутная, коричневым цветом отливает. Пить хочется невмоготу. «Ну, – думает Чигин, – если конь будет эту воду пить, то и я напьюсь досыта».

   И направил коня к реке. Зашел конь в воду. На колени передними ногами упал. Хлебнет глоток да почавкает. Хлебнет да почавкает.

   «Ета чо-нибудь неспросту, – думает Чигин, – я и сам поотведаю». Хвать глоток – сладка водица. Хвать другой – сладка. Ба! Да это ж чай внакладку. Приободрился Чигин, Нахлебался чаю. Душой повеселел. Конь шибче по берегу пошел. Смотрит Чигин, у коня вроде как странное поведение началось. Идет конь, потом – хвать песок, похрумтит. «Никак песком кормится», – дивится Чигин. А конь песок хвать да хвать. И хрумтит. «Э-э! Братец ты мой, – думает Чигин, – и это недаром». Слез с коня. Лизнул песочку немного. А это не песок. Сахар, вот что. Начал тут Чигин собирать кусочки. Пропасть сколько собрал: полны халявы и полну запазуху.

   Тронулся Чигин дале вдоль реки. Сахарком балуется, песенки попевает. Совсем на душе хорошо. Что за страна расчудесная такая, Капказ. Про всадника незнакомого и думать забыл. Смотрит, вроде как овцы пасутся. Большое стадо. Кто пасет? Никого. Ан люди-то все одно должны быть. Огляделся Чигин. С седла привстал. Дом заприметил вдалеке. Подъехал поближе. Дальше пешки пошел. Крадучись. Видит, дом большой. О двух этажах. А около двери собака лежит. Развалилась. Дремет. Здоровущая. Страсть. «Собака – это не задача, -думает Чигин, – вот в доме том кто?»

   Подкрался Чигин к собаке с подветренной стороны. Разом ухватил ее за хвост, крутанул по воздуху вокруг себя три раза и бросил. Собака после такого надругательства, поджав хвост, дала тягу, даже не тявкнула.

   Толкнул Чигин дверь. Открыто. Заходи, пожалуйста. Прошел Чигин первый этаж. Ни души. Поднялся на второй. Мать честная! Туркеня висит, к потолку за волосы привязаная. Висит и молчит. Тока смотрит жалостно. Вот порода! Терпеливая.

   – А вот я, – говорит Чигин, – подожди малешенько.

   Шашку вострую вытащил. Сомлела туркеня. Лицо помертвело. Чигин шашечкой раз – и оттяпал полкосы. Туркеня прям-таки на пол и повалилась. Бросил Чигин шашечку. Подхватил туркеню. Успел заметить – красовитая. Уложил ее на кровать. По щечке персиковой потрепал. Очнулась туркеня. Смотрит перепугано, тока не на Чигина, а через евонное плечо.

   Оглянулся казак. Мать честная! Перед ним турка стоит. Зубы скалит. Шашечкой Чигиновой поигрывает. Здоровущий, что гора. И на один глаз кривой. «Никак наездник тот, – подумал Чигин, – и дома хозяин». Схватил из-за пазухи сахара кусок, что побольше, и как жигнул турку в здоровый глаз. Турка – брык, и развалился на полу, что тебе медведь какой.

   Поглядел на него Чигин. А турка-то смазглявенький оказался: вся сила в жир ушла. И говорит:

   – Разрисовал бы я узорами твою толстую рожу, да ладно уж, недосуг мне.

   Скрутил ему Чигин руки, взвалил на себя, отнес в чулан, замок запер, ключ себе в карман положил. Вернулся. А туркеня уж хлопочет, на стол собирает: и вино, и лепешки, и фрукты разные. Выпил Чигин, перекусил. От туркени глаз не спускает. Аккуратка. Подзывает ее к себе. Притиснул. Дух у нее заняло. Подалась она и притихла.

   – Слушай, – говорит Чигин, – и принимай к сердцу. Поедем со мной в родимые места, женой мне будешь. Согласная?

   Туркеня головой кивает. Радостно.

   – Ты правильно решила, – говорит казак. – На кой тебе этот супостат кривой нужон?

   Встал Чигин из-за стола. Поблагодарил хозяйку. Из дома вышел. Свистнул своего маштака. Прибежал тот на зов. Ласкает его Чигин. А как по-другому? Конь после бога другой защитник казаку. Отвел Чигин его в конюшню, накормил, напоил, вычистил.

   – Отдыхай перед дальней дорогой, друг ты мой дорогой. Скоро-скоро в обратный путь.

   Заходит Чигин в дом, смотрит, а туркеня около двери в чулан стоит и о чем-то со своим муженьком шушукается.

   – О чем гутарите? – спрашивает Чигин.

   Вздрогнула туркеня, испугалась, знаки кажет: так, мол, про меж собой. Не понравилось это Чигину, но виду не подал, говорит:

   – Собираться в путь-дорогу пора, али передумала?

   Туркеня головой кивает, улыбается, счастливая. Берет Чигина за руку и в спаленку ведет, отдохни, мол, перед дорогой, пока я свою причиндалию соберу.

   – Ну что ж, соглашается Чигин, – это тоже дело.

   Сел на постелю, туркеня воды принесла, сапоги сняла с Чигина, ноги ему помыла – тронула сердце. Рубашку мужнюю чистую принесла, перемени, мол.

   – Да ты чо, – замахал руками Чигин, – я ж в ней утону. Твой-то хряк раза в три поболе меня будет. Расстроилась туркеня. Слезы навернулись.

   – Ладно, – говорит Чигин, – будь по-твоему.

   Взял рубашку. А туркеня машет, мол, иди, а я тут передохну маленько. Повертел рубашку, повертел и бросил у постели. Что-то душа не лежала к этой одевке. Прикорнул казак на подушке и задремал.

   Сквозь сон чувствует, душит его кто-то. Да так крепко горло обхватило, что в пору конец. Глаза открыл Чигин. А это рубашка окаянная, рукавами вокруг шеи обвилась. Напрягся Чигин, рубашку отодрать не может, словно она из жести сшитая. Кое-как сел на постели, круги перед глазами, до шашки не дотянуться. Вспомнил Чигин про отцовский ножик, что в кармане носил. Мигом вытащил и полоснул ту рубашку. Из чулана вопль донесся. Потом звук такой раздался, словно кто доской об воду хватил или об грязь. Ослабели перекруты вокруг казачьей шеи. Вошел в страсть казак, исполосовал рубашку в мелкие лоскуты. Глядь, а нож-то у него в крови. «Порешил я, знать, кривого, сам того не ведая», – подумал Чигин.

   Вдруг двери отворяются, вбегает туркеня, на колени бух. Ноги Чигину целует. Прощения просит. «Эх, отходить бы тебя плеточкой,чтоб любо-дорого, до свежих веников не забыла бы, – думает казак. – Да что уж там, оно понятно, женское сердце с воску леплено, оно к жалости доходчиво, к милости податливо». И говорит:

   – Пожалела, знать, свово муженька? А вышло напереверт. Нет тебе мово пардону.

   Собрался быстро. И в дорогу. Подъехал к овцам. Отобрал стадо, чтоб друзьям-товарищам на прокорм хватило. И погнал. Куда? Да кто ее знает. Куда дорога выведет. Кружил-кружил, кружил-кружил. Думы все на туркеню выводят. День прошел. Другой. Глядь. Ан свой стан. Каким манером Чигин до своих добрался, до сих пор не припомнит.

   Рассказывает станичникам, что с ним приключилось. Не верят. «А може и не было всего этого, – подумал Чигин.- Больно на сказку похоже». Полез в карман за кисетом. А там лежит ключ от чулана. И говорит:

   – Можете мне верить, братцы мои, можете – нет. Одно сердце мне жмет: была бы у меня молодая жена, красовитая, хоть и туркеня. А теперь, почитай, что ветром отшибло.

**Лебедь**

   Любилися одни. Так любилися. Как встренутся, целуются-милуются и слезы льют. И было от чего. Оба бедные сиротинушки. Ни кола у них, ни двора. Она в работницах у богатых была. Он на вскормлении у дядьев жил, навроде приемыша. Его звали Ларькой, а ее – Катериной.

   Вот раз он говорит ей.

   – Пойду на заработки, нету мочи мне так жить.

   Катерина его упрашивает, мол, не ходи, пропаду я без тебя. Руки-ноги целы – хватит нам достатку. Заупрямился Ларька, набычился.

   – Пойду, – говорит, – на Волгу к бурлакам. Толкуют, что они большие деньги загребают. Хочу по-людски пожить, в довольстве.

   – Да там люди хуже скота живот свой надрывают.

   – Ничего. Выдюжу. Силенка какая-никакая имеется.

   Просит Катерина.

   – Отступись. Хозяева обещались за меня большую кладку дать. Хватит нам совместную жизнь начать. А дальше – видать будет.

   На своем стоит Ларька.

   – Вона, – говорит, хозяйский сын к тебе клинья подбивает. Думаешь, я не знаю. Не стерплю я этого, порешу его.

   Плачет Катерина.

   – Окстись, разве не ты для меня свет в окошке. Или я причинность тебе какую дала.

   Не уговорила она-таки Ларьку. Сделал он по-своему. Пошел на Волгу в бурлаки наниматься.

   Добрался до села, где артели собирались. А там миру! Тьма! Мужики здоровущие, не Ларьке чета. Вербовщики народ приглядывали и в артели гуртовали. Увидали Ларьку, на смех подняли. Где это видано, чтобы казак пришел в бурлаки наниматься? В лесу сдохло. Росту небольшого, по бурлацкому делу, видать, совсем негодящий. Терпит Ларька, своего недовольства не показывает, кулаки тока затомилися да затяжелели. Однако ж все одно – не берет его никто в артель.

   Бурлаки, что с хозяевами сладились, магарыч пропивают. Между артелями состязания устроили. Борются да на кулачки выходят. Вот один бурлак, всех в борьбе победил, увидал Ларьку, схватил его под силки да как бросит наземь. У того гул в голове пошел.

   – Что, – кричит бурлак, – слабоват казачок.

   Смеются вокруг: куды ему с бурлаками тягаться.

   Поднялся казак с земли, себя превозмог.

   – Не пикайте пикульками, – говорит.

   Гонористый казачок-то оказался. Ничего не скажешь. Закипело у Ларьки нутро. Чирик вперед выставил.

   – Може в борьбе я тебе и уступлю, – говорит. – А вот на кулаках не хотишь ли свою силу спробовать?

   – Счас я тебе вздую, – говорит бурлак.

   – Не своими ли боками.

   – У тебя хвост короток со мной управиться.

   – Да ноготок востер обуздать. Заколотырились они, заспорили до одури. Раззадорили они друг дружку.

   Смеются вокруг, бойцов подначивают.

   – Ой да, казак! Вот уморил!

   – Чига егупетская!

   – Это тебе не шашкой махать, не с винта стрелять, тут сила нужна, выучка.

   – А сила солому ломит.

   Пошел бурлак на казака, словно гора на малую мышь двинулась, замахал руками, словно мельница крыльями. Отступил Ларька раз да два, потом как пустил все силы на кулак, точно супротивнику в лоб припечатал. Остановился бурлак, закачался и свалился, как сноп. Аж земля под ногами дрогнула, закачалася.

   Плюнул казак.

   – Пшено, оно и есть пшено.

   Тихо кругом стало. Понурились бурлаки. Не удалось веселье. Начали потихоньку расходиться. Подходит к Ларьке купец.

   – Ай, да удалец, – говорит, – с одного раза уложил. Беру тебя к себе. Будешь воров да разбойников ружьишком отбивать, мое добро стеречь.

   Дал согласие казак: дело вроде знакомое, пустяшное. Получил задаток и пошел на судно.

   Плывет судно по Волге, тащут его бурлаки. А Ларька сидит себе с ружьишком в конторке, хозяйскую казну охраняет. Работа не пыльная, однако ж, что-то маятно ему сидеть. Видит он, как бурлаки хребет гнут, животы надрывают. Тяжкая эта работа – до ломоты в суставах и куриной слепоты в глазах.

   Вот один бурлак Ларьке как-то и говорит:

   – Мы на тя не сердимся, парень ты неплохой, но зря на хозяйскую руку тянешь.

   За живое поддел бурлак казака. Плюнул Ларька, бросил ружье, подошел к купцу.

   – По мне, – говорит, – лучше лямку тянуть.

   Рассердился купец.

   – Ты что это, разинская порода, закочевряжился.

   – Знай край да не падай, – отвечает Ларька, – казачью честь не обзывай.

   Глянул купец на Ларьку: лучше с ним не связываться – себе дороже выйдет.

   – Воля твоя, – говорит и ухмыльнулся.

   Так попал казак в бурлаки. Тянет лямку Ларька. Кровь к глазам прилила, стукатит в висках. Ноги ли в песке вязнут, или кровянятся об острые камни. Слышит только, как кричит шишка:

   – Шире бери, ребята!

   Остановились бурлаки на ночлег. А перед тем дождь прошел. Промок Ларька до костей. От холода у него зуб на зуб не попадает. Силится в рогожный куль залезть, а не может. Озноб его пронял. Так и остался лежать на песке.

   На рассвете будят Ларьку товарищи, добудиться не могут. Хворь, видно, крепко его взяла, в беспамятстве лежит. Хотели его на судно определить, да хозяин заартачился.

   – Може, – говорит, – он тифозный, оставьте где есть.

   Поворчали бурлаки, погодите, мол, толстомордые, скоро мы вас всех через колесо протащим, а ничего не поделаешь. Простились с Ларькой, завернули его в рогожку и оставили на берегу.

   Ночью Ларька в память пришел, ни рукою, ни ногою шевельнуть не может. Лунная дорожка по воде стелется. А по той дорожке к нему лебедь плывет. На берегу лебедь обернулся в девицу. И начала она за Ларькой ухаживать. Целую ночь над ним колготилася.

   Забылся казак, очнулся, солнце уже высоко в зените. Поднялся Ларька, в теле живость почувствовал. Водицы волжской испил. Ах, ты, Волга-мать, река неласковая, укачала-уработала Ларьку. Возвертаться домой нельзя с пустыми-то руками. О лебеди-девице думать позабыл. В бреду чего не привидится. И побрел Ларька по берегу куда кривая выведет.

   Долго ли так казак шел, коротко ли, видит, мужик с лопатой ходит. Остановится, землю копнет. Отойдет. Опять копнет. Припадет. Встанет. Дальше идет. Приляжет на живот, ухом к земле припадет, вроде, как слушает. Странный, словом, мужичок. В себе ли?

   Окликнул его Ларька. Вздрогнул мужичок, оторопь его взяла. Смотрит на казака перепугано.

   Подошел Ларька поближе и озадачился. Одет мужичок как бы наоборот. Вся одежа наизнанку напялена, картуз козырьком назад, правый лапоть на левой ноге, а левый – на правой.

   Спрашивает его Ларька, а самого смех разбирает.

   – Ты чо это вырядился, как шут гороховый?

   Хмыкнул мужичок, скриворотился, глаза плутоватые отвел, много-де будешь знать, скоро состаришься.

   – А все-таки, – допытывается Ларька.

   – Ты кто таковой выискался, чтобы меня к допросу призывать.

   – Я кто таковой? Ну что ж, скажу, мне таить нечего.

   Рассказал Ларька мужичку в двух словах, кто он да чего на этом месте оказался.

   Расчувствовался мужик.

   – Эх, ты, человек, – говорит, – душа твоя нагишом. Мыслимо ли честным трудом денежку скопить. Да такого сроду на белом свете не бывало. Так и быть – подсоблю я тебе. Разбогатеешь, мне еще спасибо скажешь.

   – Как так? – удивился Ларька.

   – А вот так. Клад найдем, и я тебе долю дам.

   Рассмеялся Ларька.

   – Так тебе клад и приготовили.

   Обиделся мужичонка.

   – В каждом деле свой толк имеется. Я столько трудов положил, чтобы след клада разыскать.

   Понятно стало Ларьке, отчего мужик одет шутом гороховым.

   Не удержался казак, подтрунил над ним.

   – Ну, а что – напал на след?

   – Напал, – отвечает мужичок. – Тока ты не скалься. Желаешь – будь мне сотоварищем, не желаешь – скатертью дорога.

   Понял Ларька, дело серьезный оборот принимает. А вдруг и вправду что-нибудь из этой затеи выйдет, и согласился у мужика в сотоварищах быть. Поучает Ларьку мужик.

   – Клад абы кому не дается. Он заговоренный. Его умеючи надо брать.

   Вот и наладились они компанией клад искать. Мужик с лопатой впереди выфигуривает, а Ларька за ним следом идет. Ходили-ходили, кажись, конца-краю этой канители не видать. Харчишки у мужичонки уже подобралися.

   Наконец, подходит он к Ларьке и шепчет:

   – Нашли.

   – Что нашли, – спрашивает казак.

   – Как что? Клад!

   – Где же он?

   – Вон под тем камнем.

   – Так давай, – говорит Ларька, – откроем.

   Смеется мужичок, довольный.

   – Вот дурная голова! Полночи надо ждать. Присели они. Ждут, томятся. Быстрей бы стемнело. Приложил мужичок ухо к земле.

   – Послушай, – говорит.

   Припал к земле Ларька: грохочет что-то там внизу, лязгает. Мужичонка говорит:

   – Это черти бочки с золотом катают.

   Среди ночи грохот стих, подошли они к камню, отвалили его, и открылся им вход в подземелье.

   Предупреждает мужик казака.

   – Что бы ни увидел, что бы ни услышал, ни слова мне не говори.

   – Ладно, – отвечает Ларька.

   И полезли они в подземелье. Чуть прошли, свет забрезжил. Доходят они до залы, а там денег – кучи насыпаны. Бери – не хочу. А на тех кучах кот Китоврас разлегся, сладко дремет. Вот тебе и сторож!

   Начали сотоварищи деньги в мешок собирать. И показалось мужику, что Ларька серебро в мешок кладет, а золото оставляет. Разозлился он и говорит:

   – Глаза разуй, дурья башка! Золото в стороне оставляешь, а серебро гребешь.

   Что тут началось! Кот проснулся, замяукал, захохотал. Кинулся Ларька назад к выходу. Обрушились потолки… Очнулся казак, темно вокруг. Из завала выбрался, никак руки-ноги целы – и то счастье. Куда ни пойдет – везде серые стены. Знать, суждено ему помирать в этом склепе. Присел, загоревал Ларька, Катерину вспомнил.

   Вдруг свет пред ним замерцал. Голову поднял, девица перед ним стоит в белых одеяниях, за собой манит. Пошел за ней Ларька. Куда ж деваться? Скоро девица его к выходу привела. Обрадовался Ларька, на свет Божий вышел. Дышится, не надышится. Рассветет уже скоро. Звезды еле видно. Хотел девицу поблагодарить, а та лебедем обернулась и улетела.

   Вспомнил Ларька мужика, заплакал. И решил, хватит судьбу испытывать, надо до дому к Катерине возвертаться.

   Дошел Ларька до города. Решил в трактир заглянуть, перекусить чего-нибудь. От голода живот свело. Голод-то, он не свой брат. Подсел к нему ражий детина, спрашивает:

   – Ты что невеселый такой?

   – Да счастье мной играет, – отвечает казак.

   – Пока на воле, смейся, брат, – говорит детина. – Любишь ты ли Матрену Ивановну?

   – Какую?

   – Нашу тетку, что всех нас веселит, приголубливает и спать с собой укладывает.

   – Такой не знаю.

   – Так знай.

   И детина поставил на стол бутылку вина.

   Рассмеялся Ларька, хорош детинушка, нечего сказать.

   – А знаешь ли ты, казак, сколько в этой бутылке добра и зла?

   – Нет, не знаю.

   – Пока я с тобой, учись познавать добро и зло. Выпьешь мало – зло, выпьешь много – зло, выпьешь достаточно – добро.

   И это понравилось Ларьке. Выпили они, перекусили и вышли из кабака, хмельные.

   Детина спрашивает Ларьку.

   – Есть ли у тебя деньги?

   – Нету.

   – А не призанять ли нам денег у тороватого купца?

   – Как это?

   – А так, обухом сундуки потрогать.

   – Не в совесть это, – отвечает Ларька.

   – Совесть подлежит до одного Большого суда, а не человеческого. Посмотри, птицы небесные чем живут? Воровством. Стянула зерно, не попалась, ну и сыта. Отец небесный их питает и греет.

   – Так то птицы, а мы люди.

   – А ты куда ни кинься, все люди воруют, только нам не велят.

   – Да кто ты таков? – спрашивает Ларька.

   – Ты видел волю, она по белу свету ходит?

   – Нет, не видел. А какая она?

   – Со мной схожа, – говорит детина и рассмеялся.

   – Так ты, вор, что ли?

   – Не вор, не тать, тока на ту же стать.

   Подбил-таки детинушка Ларьку к его промыслу пристать.

   – Я, – говорит, – тебе милость оказываю, а ты супротивничаешь.

   И поклялся казак быть с вором за один.

   Купил детина живую курицу на базаре. Последние деньги отдал.

   – Да на кой она тебе сдалась? – спрашивает Ларька.

   – Дай срок, сам все увидишь, – отвечает детина.

   Подошли они к дому купца. Забор около него высоченный. Доска к доске пригнана. Ничего не углядишь что там во дворе делается. Детинушка кинул курицу через забор. В ворота постучал. Открыл ему сторож.

   – Чего надоть?

   – Мил человек, курица моя через забор перелетела, споймать надо.

   Поворчал что-то сторож, но детину за ворота пустил.

   Пока курицу ловили, детина все ходы-выходы высмотрел. «Ловок, шельма, – подумал Ларька, – за таким не пропадешь».

   Дождались они ночи. Через забор перебрались. Не успел Ларька и шаг шагнуть, как схватил его сторож. Ларька отбиваться начал. Не тут-то было. Руки у сторожа точно обручи железные. Позвал Ларька детину на помощь. Да тот махнул через забор, только его и видели. А казака хватили чем-то по голове и сознания лишили.

   Очнулся Ларька уже в тигулевке. Тело избито, живого места нет. Подвел детина его под каторгу. Лежит казак, думает: «Ну, детинушка, по гроб живота своего не забуду я твоей милости». Права была Катерина, ох как права: везде хорошо, где нас нет.

   Видит казак, девица перед ним в белых одеяниях объявилась, за собой манит. Встал Ларька, дверь открыта, стража спит. Вышел на волю, поклонился девице. А та лебедем обернулась и улетела.

   «На кого ж эта девица лицом сходствует, – думает Ларька, – не понять».

   Добрался до своей станицы Ларька. А там его большое гореванье поджидает.

   – Скрепи сердце, – говорят ему, – утонула твоя Катерина в озере, и тому уж много времени прошло.

   Понял враз Ларька, что это она его из беды выводила. Вошла ему незнаемая боль в сердце. Выпытывает он, что да как получилось.

   – Она, как утопла, то сюда по ночам приходила, – говорит один из дядьев. – Вокруг хаты топотила, все стонала-плакала, тебя звала.

   – Ну, а ты чо ж? – спрашивает Ларька.

   – А я чо, с крыльца из берданы в нее стрелил. С тех пор перестала наведываться.

   Вскочил Ларька, хотел на дядьку кинуться. Удержали его.

   – Ничо с ней с этого не сделалось, а худое на хату могла б накликать.

   – Куда же хуже, – говорит Ларька.

   – Навроде ей хозяйский сын докучал, проходу не давал. Не нарошно она это дело произвела. А все одно – грех большой, на себя руки наложить.

   Пошел Ларька хозяйского сынка искать. Узнал он, что отправил его отец на дальний хутор, от беды подальше.

   Добрался Ларька до хутора. Обыскался – нет нигде хозяйского сынка. Настиг он его в камышах.

   – Ты что ж это здесь своим жирным телом комарам служишь. Тот на колени упал.

   – Не убивай! – кричит. – Любил я ее не меньше твоего.

   – Шабаш! Зараз я тебя расчахну.

   – Меня убьешь, а ее не возвернешь.

   Удивительны слова его стали для Ларьки.

   «Возверну, – думает, – любовь моя возвернет». Плюнул на хозяйского сынка и домой пошел.

   Прослышал Ларька от людей, что кружил над озером одинокий лебедь и кричал до того жалобно.

   Подумал казак: «Може, то Катерина была». И пошел на озеро.

   И тут Ларьке невезение. Ходил-ходил, высматривал. Все гуси-лебеди живут парами. Одиночествующих среди них нет.

   Дядька говорит ему:

   – Живость в человеке должна верх брать, пора тебе к делу притуляться. И отправил Ларьку на сенокос. Работает Ларька на сенокосе от зари до зари, гонит от себя думки. Тока они приходят незваны. Тошно казаку, плохо.

   Однажды утром хватился Ларька, узелок с харчами пропал. «Да что это за оказия такая, – думает, – в станицу идти далече, делянку надо докосить, пока погода стоит». Остался Ларька, поработал. На следующее утро проснулся – нет чириков. Ларька туда-сюда, один чирик нашел. Смотрит, трава примята, никак след куда-то ведет. Пошел казак по следу, нашел второй чирик. Дальше прошел – узелок с харчами у дерева лежит. Поднял Ларька узелок. «Видно, зверь какой балует», – подумал он и назад вернулся. Поработал до темноты и лег спать.

   Во сне чувствует: давит ему грудь. Глаза открыл, а перед ним девица в белых одеяниях на коленях стоит.

   Ларька как крикнет:

   – Катерина!

   Испугалась девица и в бега. Ларька за ней. Никак не угонится. Добежала Катерина до озера. В воду вошла и к себе Ларьку манит. Боязно казаку стало. А Катерина еще глубже в воду вошла. Обернулась, поманила Ларьку. Ступил казак в воду, дальше не может, страх забирает. Застонала Катерина, заплакала и под водой скрылась.

   Вернулся назад Ларька. Какой уж тут сон! Одни муки. И за себя казаку стыдно – невысока его любовь. Целый день промаялся, обтомился душой. Решил Катерину ждать.

   В полночь приходит она к нему. И за собой манит. Встал Ларька молча, чтобы словом ее не спугнуть и пошел за ней. К озеру подошли. Ларька за руку ее взял, и они вместе в воду ступили. Идут-идут. Друг на дружку смотрят. Вода уж до пояса дошла. Вот уже грудь холодит. Не страшно Ларьке. Хорошо ему на душе, спокойно…

   …Говорили люди, объявились в дальней станице муж и жена, очень схожие собою на Ларьку и Катерину.

**Лихо одноглазое**

   Еще при царе это было. Возвращался казак Тишка со службы домой. Все ближе и ближе родимая сторонушка. Ширится радость в груди у казака, наполняется сердце. Конь боевой легко несет. Едет казак, думу думает, что ждет его дома дорогая матушка и невестушка его Лизанька. Ждут не дождутся. Тому уж три года минуло, как казака дома не было. Завздыхал Тишка. Вот и станица завиднелась. Приосанился казак, песню заиграл, думает: «Мои-то давно прослышали, что я возвращаюсь, с хлебом-солью встретят. Букетами коня украсят. Закатим пир на всю округу». Подъехал Тишка к станице – никто его не привечает. Дома покосились, не белены. Скотина ревмя ревет, не поена, не кормлена. Поля не вспаханы, на засеяны. Плач над куренями стелется, ругань по переулкам гуляет, «Ошаламел народ», – удивился Тишка. Никто его не признает, никто с ним не здоровается. Казаки друг дружке в глаза не глядят, а смотрят – так зло. Бабы причитают: «Ох-х, лихо нам, лихо!» Послушаешь их, так и свет не мил. Детишки в игры не играют, горькие слезы льют.

   «Что-то тут не так», – смекает Тишка.

   Подъехал он к своему куреню. На приступках мать сидит, слезами обливается. В голос кричит, тоскует по единственному сыночку, Тише ненаглядному.

   – А вот и я, – говорит Тишка, – живой и невредимый!

   Мать плакать перестала, посмотрела на сына и не признала.

   – Не сын ты мне вовсе, – говорит, – лежат косточки мово сына на чужедальней стороне. – И опять слезами залилась пуще прежнего.

   Как ни бился Тишка – не признает его родимая матушка дорогого сына. И все тут.

   Расстроился Тишка. «Пойду, – думает, – к Лизаньке наведаюсь, к суженой своей».

   А у Лизаньки та же картина.

   – Иди, – говорит, – отсель, знать тебя не знаю и знать не хочу. А Тишку твоего ненавижу всей душой, потому как знаю, с кем на службе прохлаждался. Вот и сгиб ни за грош. А я его так любила…

   – Да вот я, живой, здоровый, – говорит Тишка.

   – Иди, казачок, отсель подобру, а то неровен час до беды-то.

   Лизанька девушка была крупная, в поле за троих казаков управлялась. Тишка опасливо посмотрел на нее. «А ведь правда, долго ли до беды…» – И подался к калитке. А Лизанька ему вслед:

   – Наплевать мне на твоего Тишку и растереть. Я за Ваську Косого замуж собралася. – И в рев: – Ох, лихо мне, лихо!

   Тишка ей из-за плетня:

   – Тоже мне казака нашла! Тьфу, срамота!

   А у самого душа заныла. «И что ж такое делается на белом свете? Ну погоди, бабья порода! Я тебя плеточкой, ишо мозги прочищу».

   Идет Тишка улицей. Смотрит: лужа большая, в луже старуха сидит, на один глаз кривая. Горбатая. Лохмотья к худому телу прилипли, в чем только душа держится. Рядом с ней мешок плавает. «Что-то тут не так, – смекает Тишка, – надо ухо востро держать». Завидела его старуха, запричитала:

   – Помоги, касатик, помоги, Тиша дорогой. Шла-шла да упала, а встать не могу и никому до меня нет дела.

   Обрадовался казак, что хоть один человек его в станице признал. Забыл про то, что сторожко обещался себя держать. Зашел в лужу, подхватил старуху на руки, а та кричит:

   – Мешок, мешок не забудь!

   Прихватил Тишка мешок, и будто радостью его обдало. И такая радость, что хоть в луже в пляс пускайся. «Что такое, – думает Тишка, – не пойму, что со мной творится». – И говорит старухе:

   – Чтой-то я тебя, бабуся, здеся раньше не видывал.

   И хочет ее на землю, где посуше, поставить. А та не дается – прилипла, не отлепишь.

   – А-а-а! – кричит. – Казачок! Давненько я тебя здесь поджидаю. Сколько денечков прошло, со счета сбилась. – И на шею ему – раз!

   – Вот лихо-то, – прошептал Тишка и вздохнул.

   – Ага, оно самое и есть. Говорили мне люди, что хитрей тебя казака во всей округе не найдешь, только я похитрей тебя оказалась.

   – Выходит, так, – отвечает Тишка со вздохом. – Это ты народ взбулгачила?

   – Я, – отвечает Лихо, – кому ж еще. Вон полон мешок радости набрала. Твоей только не хватает.

   – Ох и молодец, – нахваливает ее Тишка, а сам думает, как быть, что делать. – Как же ты, – говорит, – в такой маленький мешок так много радости набрала?

   – Это я, – говорит Лихо, – вашу радость уминаю.

   – Нехорошо, – говорит Тишка, – по человеческой радости топтаться.

   – Ничего, – отвечает Лихо, – зато мне от этого веселей становится.

   Так они друг с дружкой переговариваются. А Тишка тем временем от станицы далече ушел. Думает: «Счас до яра дойду и вниз головой брошусь. Сам погибну, так и Лиху распроклятому конец придет».

   Только он это подумал, как Лихо ему говорит:

   – Хватит, казачок, меня на своем горбу таскать, пора о деле подумать.

   Остановился Тишка. Слезла с него Лихо и предупреждает:

   – Не вздумай от меня бежать и в мыслях не держи, а то хуже будет. «Куда ж хуже-то», – думает Тишка и говорит:

   – Ну что ты, я теперь твой слуга на вечные времена.

   – Известное дело, – соглашается Лихо. – Пока у тебя всю радость не заберу, не отстану.

   – Да бери, – говорит Тишка. – Что ее у меня, мало, что ли? Бери, и дело с концом.

   – А зачем мне ее брать? Сам отдашь.

   – Это как?

   – А вот так. Сейчас, дай дух перевести. Села рядышком, да как закричит, да как запричитает во весь голос.

   – Так мне тебя жалко, казачок, спасу нет. У Тишки от удивленья глаза на лоб полезли.

   – Если жалко, отпусти на все четыре стороны. Зачем сердце рвешь?

   – Вот поговорим о жизни нашей и отпущу, не резон мне тебя держать.

   – Про жизнь так про жизнь.

   – Смотрю я на тебя, казачок, голова твоя поседела, тело твое изранетое. Воевал, себя не жалел. А много ль от царя-батюшки наград получил?

   – Да ничего, – говорит Тишка, – не получил. Так не за царя кровинушку свою по капле отдавал, а за Родину свою, за землю, на которой живу.

   – И то так, – отвечает Лихо. Видит, здесь казака не проймешь, с другого бока подступает. Голос еще жалчей сделала:

   – Был бедняк, бедняком и остался. Дома коровешку оставлял, и та без тебя сдохла.

   – Ничего, – говорит Тишка, – были б руки-ноги целы – не пропадем.

   А Лихо свою линию гнет, не успокаивается:

   – Суженая твоя к другому подалась.

   – Твоя правда, – сказал Тишка. И завздыхал, закручинился, да так, что свет не мил показался.

   Лихо довольная. Руки потирает. Довела-таки казака. Смотрит Тишка, а мешок-то с радостью вроде как поболее прежнего стал. Смекает, в чем дело. «Ну ничего, старая, я еще над тобой позабавлюсь». И залился слезами, уже понарошку. А Лихо развеселилась. В пляс пошла. Откуда прыть взялась.

   – Говори, – кричит, – говори, на душе легче будет.

   – Ох, – говорит Тишка, – уморила ты меня. Не житье мне на белом свете. Пойду руки на себя наложу. Просьба у меня напоследки жизни. Дай передохнуть.

   А Лихо довольная такая. Что ж, мол, передохни. А потом еще погорюешь.

   – Сильная ты, Лихо, никогда бы не подумал. Ловко умеешь человеческую радость собирать.

   Лихо в ответ: «Я, – говорит, – такая. К человеку подход имею. Так человека разжалоблю, так его растревожу. Всю радость до капельки отдаст, а без радости и совесть легко потерять. Водички попрошу напиться. Кто ж не даст. Глядишь, разговор завязался. Как живешь, спрашиваю. Хорошо, говорит, живу. Кто ж тебе сразу скажет, что плохо живет? Ничем, спрашиваю, не обижен в этой жизни? Кто же, говорит, не обижен. И начинает… А я подначиваю. И пошло-поехало. Человек в слезы. А у меня мешок наготове».

   – Ох, и хитра ты, Лихо, где мне тебя перехитрить. Давай, – говорит, – в прятки поиграем. Я страсть до чего любил в детстве в прятки играть. Никто сыскать меня не мог.

   – Ну что ж, – говорит Лихо, – давай поиграем, только от меня прятаться – бесполезное дело. Я тебя везде сыщу.

   И стали они в прятки играть. Тишка в копешку с сеном залез. Лихо нашла.

   На дерево взобрался. За ветвями укрылся. И там нашла.

   – И правда, – говорит Тишка, – бесполезное дело от тебя прятаться. Ну-ка теперь ты попробуй схоронись.

   Повернуться не успел, глядь, нет Лиха. Куда подевалась, может, не было ее вовсе. В страшном сне привиделась. Тишка туда, Тишка сюда. Глядь, мешок с человеческой радостью лежит на месте. «Не сон, знать, мне привиделся, – думает, – и не умом я тронулся». Мешок бы развязать, да и дело с концом. Потом думает: «Негоже так, надо сначала с Лихом разделаться».

   Стал Тишка приглядываться да присматриваться. Видит: на дереве сучок выбит, маленькое такое дуплишко образовалось. А из дуплишка носик остренький торчит, грязью перепачканный. «Э-э-э, – думает казак, – смекай, Тишка, не просчитайся. Как же это она туда забралась?» И говорит:

   – Выходи, Лихо, покажись, не могу тебя сыскать. Где мне с тобой тягаться.

   А Лихо тут как тут, до чегошеньки довольная, от казачьей похвалы голова кругом пошла. Тишка виду не кажет. Удивляется:

   – Где ж ты так схоронилась?

   – А туточки, рядышком была. Ты мимо меня сто разов прошел… В дупле я была, вот где!

   – В такое маленькое дуплишко забралась, ай да Лихо, ай да молодец.

   – Это что, – говорит Лихо, – я вот в такую щелочку пролезу, клубочком свернусь, никто меня не приметит.

   – Это что, – говорит Тишка, – это еще не удивление, а вот в кисет сможешь забраться? Смотри, какой маленький! – И сам кисет вытащил, развязал. – Нет, – говорит, – в кисет не сможешь. – И вздохнул. – В ноздрях у тебя еще не кругло.

   – Это у меня не кругло? – расходилась Лихо, – Да я в один момент… Хоп! – и готово.

   Казак кисет чуть не выронил, до того он тяжелый стал. Быстренько завязал его тройным узлом.

   – Понюхай, – говорит, – Лихо, табаку.

   И рукавом пот со лба смахнул. Умаялся. Большое дело сделал. А Лихо из кисета кричит:

   – Залезла, казачок, а ты не верил. Тишку смех разбирает.

   – Молодец, – говорит, – ты, Лихо, твоя взяла! Только из кисета тебе теперь ходу нет.

   Запричитала Лихо, стала просить казака, чтобы выпустил он ее. Потом грозить начала.

   – Нет, – говорит Тишка, – ты меня этим не проймешь. Кисет жалко, Лизин подарок. Ну так ничего, в дело пошел.

   Подкинул Тишка кисел на ладони. Тяжеленький. И запустил его подальше в репьи да калюку. Развязал он мешок с человеческой радостью… В станице кочеты запели. Все разом, в один голос. На душе радостно. Слов нет. Кто-то песню заиграл. Веселую. «Никак, моя Лизанька старается, – подумал Тишка, – эх, пора и мне домой возвращаться». Не успел он шага шагнуть, а народ ему навстречу валом валит. Тишу-дорогушу встречать-привечать. Впереди мать идет. Чуть поодаль Лизанька. Плачут. Уже от радости. «Дождались мы тебя, Тишу-казака. Без тебя пропадай наши головушки». Тишка усы подкрутил, подбоченился, то-то, мол. И пошел навстречу. Но на этом дело не кончилось.

   Ехал барин по дороге. В карете дорогой. Весь в золоте убратый. Смотрит: впереди по дороге что-то катится. Кучеру в бок толк – мол, придержи коней. Из кареты вылез, не поленился. Видит: кисет на дороге лежит. Схватил его. Тяжелый. Золото, думает. Пока развязал, ногти холеные пообломал. Выскочила из кисета Лихо. И уселась барину на шею. И ласково так говорит:

   – Вот спасибо, друг ты мой милый, выручил! Теперь в услужении у меня будешь, пока я твое добро до нитки не спущу.

   И кучеру рукой махнула, мол, поехали.

   Поехали так поехали. А нашей сказке тут остановка.

**Лобаста**

   Давным-давно жил казак. Звали его Дрон. Вот однажды поехал он на охоту. И случилось с ним такое, что с другими сроду не бывало. Едет он, едет по степи и чувствует: словно следит за ним кто-то. «Может, – думает, – лихой степняк хочет меня заполонить». Оглянется, нет никого. Что за напасть. Знать, чудится. Дальше едет. Далеко в степь забрался. Жара нестерпимая. Самое время на сайгаков охоту вести. Заприметил Дрон стадо. С коня слез и стал с подветренной стороны к сайгакам подбираться. Долго полз. Наконец добрался близехонько. Ружье на рогульку приспособил. «Счас, – думает, – свистну, стадо вскинется, а я одним выстрелом двух, а то и трех сайгаков положу». Только приладился. Как вдруг стадо с места снялось, только его и видели. Пальнул Дрон вслед и попал в белый свет, как в копеечку. «Что такое, – думает, – со мной еще такого не бывало. Может, кто другой стадо вспугнул». Встал. Огляделся. Никого. Ну дела!

   До вечера за сайгаками по степи кружил, да все без толку. «Не проделки ли это Лобасты? – думает Дрон. – Если так, то сторожко надо себя держать». С Лобастой шутки плохи. Она первая в степи хозяйка, над зверем начальница. Если встретит ее охотник – быть беде: заведет в гиблое место или, того хуже, спящего волосом к былинке привяжет и примешь смерть мученическую.

   Свечерело. Развел Дрон у карагача костер. Наладился кулеш варить. Глядь, вроде идет кто-то. Зверь не зверь. Человек не человек. Лобаста! Подходит ближе. Вроде как девица, только в шкуры звериные одетая.

   – Ты кто? – спрашивает ее казак.

   Молчит.

   – Кто?

   Опять молчит.

   – Немая, што ли?

   А она головой кивает. К костру присела. На варево казачка уставилась и молчит. Дрон котел ей подвинул. Ложку дал.

   – Ешь!

   Схватила ложку девица. Поела. Встала и ушла. «Чудеса господни, – думает Дрон. – Спать не буду. На рассвете надо с этого места уходить подобру-поздорову».

   Всю ночь не спал Дрон, под утро забылся. Глаза открыл. А перед ним девица вчерашняя стоит. И шепчет что-то беззвучно. Не по себе казаку стало. В пот ударило. Вскочил с полости. Как закричит:

   – Ах ты, ведьма проклятая!

   И плетью замахнулся. Да рука не опустилась. Может, и ведьма. Только красоты писаной. Стоит, смотрит, глаза не отводит. А глаза глубокие, большие. Замерло сердце у казака, голова закружилась. «Неужто, – думает, – я себя не переборю». Развернулся круто. И на коня. Отъехал недалеко. Оглянулся. А она следом идет. Он коня в шенкеля – и ходу. Потом думает: «Негоже казаку от девицы бегством спасаться». Придержал коня. Оглянулся. Она следом бежит. Руками машет. Повернул Дрон коня. Подъехал. Она стоит, смотрит, родимец ее возьми. Слезы ручьями текут. Сказать что-то хочет, да не может. И смотрит так, что на душе у Дрона затомилось. Глядит на нее казак. «Человек как человек. Только в шкуры одетая. Не бросать же ее одну. Возьму-ка я ее до людей». Потеребил казак усы и говорит:

   – Согласная ты со мной ехать?

   А она кивает головой. Смеется и плачет от радости.

   Привез Дрон девицу в станицу. Вывел ее в круг.

   – Вот, – говорит, – хочу на ней жениться.

   Ну, а народ, что? Хочешь, так женись. На том и порешили. Старики их вокруг березы обвели. Вот и вся свадьба. Тогда так женили. Поженили их, значит. Живут. Хозяйка справная с той девицы вышла. Одно плохо – молчит и другой одежи, кроме своих шкур, не признает. Дрон уже и так, и сяк, и лаской, и грозил. Наряды ей персидские да турецкие предлагал, что в походах раздобыл. Только она ни в какую. Не снимает своих шкур, и все. Сядет и плачет. По станице разговоры пошли. Добро, мол, хоть с походу девку взял, а то так, нашел где-то приблудную. Неудобно казаку. Оправдывается. Не бросать же человека в степи. Слышит такие речи его жена. Голову клонит. Сказать что-то хочет, да не может. Совсем Дрону жизнь такая невмоготу. Перед людьми стыдно. А чего совестится, сам не знает. Однажды ночью дождался казак, когда его жена уснет. Встал тихонечко. Собрал шкуры звериные, что одеждой жене служили. Вышел во двор и шашкой посек в мелкие клочья. А у самого чувство такое, что по живому месту рубит. Ему б остановиться. Да разум обидой затуманен. С делом управился, Оглянулся. На приступках жена стоит и говорит. А голос такой тихий, грудной.

   – Эх, Дрон, Дрон, погубил ты меня на веки вечные… Не дождался ты всего три дня и три ночи…

   И как вздохнет тяжело. Слезы катятся. От горести и обиды.

   – Не любил ты меня, Дрон, жалел только – вот твоя вина. Прости, – говорит, – и прощай, любимый, навсегда.

   И пропала, будто не стояла рядом и не говорила с ним. Упал Дрон как стоял, по сухой земле елозит, кровавым ртом ее грызет. Боль-тоска под самое сердце вошла. «Что наделал, сам себя под самый корень срубил. Эх ты, жизнь моя никудышная, жизнь загубленная…»

   Изменился Дрон с тех пор, лицом посерел, телом опал. Ходит, смотрит, да ничего вокруг себя не видит, слушает, да ничего не слышит. Идет куда, потом забудет, станет, стоит, махнет рукой и обратно повернет. Много ли, мало ли времени прошло. Говорят ему товарищи: «Поедем на Черно море турку пошарпаем». Отнекивается Дрон. Чумно на его душе, не за турку у него забота. Надоумили его поехать к одному старику. Жил там такой неподалеку. Колдун не колдун. А так, человек неприветливый. Побаивались его люди, сторонились. Приехал Дрон к старику, ружье ему в грудь наставил и говорит:

   – Если беде моей не поможешь, пристрелю, как собаку.

   Старик на него как зыркнет. Дрон так и обомлел. На что уж казак не робкий был.

   – Знаю, – говорит, – про твою беду. А как помочь – не ведаю.

   Налил в чашку воды. Бросил туда кольцо. Пошептал что-то, руками поводил.

   – Вот, посмотри на жену свою раскрасавицу.

   Видит Дрон степь. Стадо сайгачье. А промеж сайгаков Лобаста прыгает. Роста махонького. Тело шерстью обросло. Нос клювом утиным торчит. Вместо ног копыта. «Вот страшилище-то», – не выдержал Дрон, глаза отвел. Как быть? Что делать? А старик и говорит:

   – Я тебе в таком деле не советчик. Сам кашу заварил, сам и расхлебывай.

   Стыдно стало Дрону. «Поеду, – думает, – счастья попытаю, может, разыщу жену свою, и совершится еще раз чудо».

   Едет Дрон по степи, в голове грустные мысли держит. День едет, два, притомился, конь спотыкается. Сам едва в седле держится. Вдруг смотрит: темная туча с горизонта идет, по земле стелется. Кружил Дрон по степи, кружил. Нигде просвета не видать. «Все, – думает, – конец мне пришел. И что дома не сиделось». Только это подумал, исчез туман. Солнце светит. Небо голубое да степь ковыльная. Стоит перед ним Лобаста и говорит ему:

   – На первый раз прощаю тебя. Возвращайся домой, Дрон.

   От одного вида Лобасты дрогнуло сердце у казака. В душу сомнение забралось. Язык не повернулся что-то сказать в ответ. И поехал восвояси. В голове тяжело, на душе пусто. «Все равно, – думает, – мне не жизнь без нее, надо вертаться. Теперь не смалодушничаю».

   И повернул коня назад.

   День едет, два. Сомнения от себя гонит. Сушь стоит невыносимая. Ни ручеечка кругом, ни лужицы маленькой. В висках кровь стучит, язык распух. Как в бреду. Видится ему река широкая. Воды там, пей – не хочу. Упал Дрон с коня. Еле живой. «Не по мне, – думает, – это дело – с нечистой силой тягаться». Только подумал так, глядь, стоит перед ним Лобаста.

   Смеется, да как-то невесело.

   – Последний раз тебя прощаю, Дрон. На третий раз не жить тебе на этом свете.

   Сказала и исчезла. А на том месте, где стояла она, родничок забил. Да такой веселый. Припал к нему Дрон. Напился. Отлежался. «Все, – думает, – не человек я после этого. Смерть свою и то принять не могу. Эх, Дрон, Дрон, грош тебе цена».

   Поднялся и пошел Лобасту искать, душой крепкий и в себе уверенный. А ручеек тот разлился в речку. Вдруг накатила на него волна. Сбила с ног и потащила к морю-океану. Борется Дрон как может. Плывет. Да из сил быстро выбился. Чувствует, конец ему приходит. Собрался с духом и крикнул:

   – Прощай, дорогая, навсегда! Только напоследки объявись. Не отступился я от тебя.

   Очнулся Дрон. Что такое? Лежит он на своем дворе. В руках шашка. Рядом шкуры лежат посеченные. А на крыльце жена стоит. Раскрасавица. Слов нет, до чего пригожая. Разодетая так, что твоя княжна. В ноги ему кланяется и говорит:

   – Спасибо тебе, Дрон, муж мой разлюбезный, спасла меня твоя любовь.

   А Дрон понять ничего не может. Во сне то было с ним, что приключилось, иль наяву.

   – Тебе спасибо, – говорит, – что любить меня научила.

   И зажили они счастливо. Детишек у них много было. Какое счастье без детишек-то?

**Митяй – казак бесстрашный**

   Рассказывали люди, когда Митяй мал еще был, чуть больше рукавицы, лежал он в люльке. Насупленный, сурьезный такой. В курене ни души: отец в поле, мать хлопотала где-то по домашности.

   Подкрался к люльке Страх и стал ребенку рожи корчить, чтоб напужать мальца. А Митяй изловчился. Хвать его за бороду и ну трепать. Да так ухватил – не отдерешь. Крики, вопли в курене. Мать услыхала. Ой, чтой-то с Митяем? Забежала сама не своя, а он в люльке лежит, от удовольствия пузыри пускает, в руках пучок сивых волос держит, играется. А за окном плач да угрозы, да воркотня. Где это видано, чтоб со Страхом так обращаться.

   Следующий случай вышел, когда Митяю три года исполнилось. Посадил его отец на коня, чтоб по двору провезти, по казачьему обычаю. Страх из-за сарая как выскочит, отец напугался до смерти, из рук узду выпустил. Конь – на дыбки и понес через забор в чисто поле. Убьется малец! Замерло сердце у отца, мать в голос завыла. День к вечеру уже пошел. Видят, идет конь ко двору, весь в пене. А на нем Митяй восседает. Довольный. Вот какие чудеса чудесные!

   Другой случай такой был. Митяй уже в малолетках ходил. В путину со взрослыми невод увязался тянуть. Упросил Страх Водяного побаловать, людям объявиться,

   – А я, говорит, – за кусточками посижу.

   Долго не хотел этого Водяной. Не солидно, мол. Да согласился наконец. Тянут казаки невод. Тяжело. Видать много рыбы попалось. Подтащили к берегу. А из мотни Водяной, возьми да объявись. Врассыпную народ, кто куда. Страх хихикает, ручонки потирает. Довольный. Смотрит, а Митяй, как стоял на бережку, так и стоит. Говорит Водяному:

   – Ты что балуешь?

   А Водяной ему бряк в ответ:

   – Где здесь дорога на Царицын?

   – А вот тамочки, – говорит Митяй, – так прямиком и держи по реченьке.

   Развернулся Водяной, от досады Страху кулаком помахал и пошлепал прямо по воде в ту сторону, куда ему Митяй указал.

   Пошла с тех пор за Митяем слава бесстрашного.

   Подрос Митяй, в года вошел. Война приключилася. Пошел Митяй на войну. А Страх в обозе пристроился. «Уж тут, – думает, – я его пройму».

   Вышли казаки к позициям. Слышит Митяй команду:

   – Подтянуть подпруги! Садись! Смирно! Шашки вон! В атаку с гиком марш-марш!

   Чует Митяй, что-то тревожит его, не по себе ему чего-то. Оглянулся, а сзади на крупе Страх присел и ухмыляется. Выхватил Митяй нагайку и проканифолил Страха от души.

   – Размякни маленько, отдышись.

   Пули – тзык-тзык! Орудия громыхают, пехота сгурбилась, как стадо, тут казаки врезались в самую гущу. Тут и Митяй подоспел, злой, что замешкался. Упаси боже, что плохое подумают! Вертится на своем маштаке, рубится без устали. Кровь разгорячилась, рука расходилась. Тут наш трубач «стой!» играет, «ап-пель!». Пехота заторопилась, ну, стрелочки, пора и в кусточки. Наши отошли, а Митяй не слышит, в самый раж вошел. Вражий офицер говорит своим метким стрелкам:

   – Ну, братцы, ссадите вон того молодца.

   Да где там! Такого молодца разве пулей возьмешь. Тут и станичники на выручку пришли, ударили по неприятелю. Опрокинули. Хоть рыло в грязи, да наша взяла. После боя позвал Митяя к себе генерал.

   – Хороший ли ты казак? – спрашивает.

   – Под судом и следствием не был, – отвечает Митяй.

   – На следующий раз попадешь, если команды слушать не будешь. И произвел его в урядники.

   После того, как Митяй нагайкой проканифолил Страха, забился он в самые что ни на есть калюки, охает-стонет: «И что же это на белом свете такое происходит». Глядь, а рядом Смерть стоит. Притомилась. Жатва ей большая вышла. Стоит, на косу тяжело опершись… Страх к ней.

   – Подсоби, – говорит.

   – Да на что он тебе сдался? У меня и без него дел по самую маковку.

   – До чего ж ты, – говорит Страх, – неупросливая, когда надо. Ты вот тут гузынишься, а он меня за живое задел. Страх я или кто? Подсоби! Иль мы не в родстве ходим? Всегда рядышком, бок о бок по белу свету.

   – Ладно, не трандычи, – говорит Смерть нехотя, – будь по-твоему.

   Сидит Митяй, шашку чистит. Видит, батюшки мои! К нему Смерть поспешает, а сзади Страх чикиляет. Подходит она к нему и спрашивает:

   – Как жизня-то?

   – Да житьишко вмоготу, – отвечает Митяй.

   – Ну что, казак, пришел черед твой ко мне в гости иттить.

   – А я, – говорит Митяй, – не спешу. Я еще обожду.

   Зенки свои вытаращил. Желваками заиграл. Вырвал у Смерти косу. Сломал. Нагайку из-за голенища вытащил. Да как ее оттянет. Да раз, да два. Отлупцевал Смерть. Страх видит такое дело. В бега ударился. А за ним Смерть. Грозится, ты, мол, еще у меня наплачешься. Гляди, наведаюсь.

   – Приходи, – говорит Митяй. – Нагаечкой проканифолю. Отлегнет тебе маленько.

   Много еще геройств Митяй всяких совершил. Записался он охотником во вражеском тылу похозяйничать. Сколько укреплений взорвал, складов сжег, языков в плен забрал – не счесть.

   А вскоре замирение вышло. Смерть-то наших не принимает, вражья пуля не берет. Запросил неприятель пощады. И пошла гульба. Приступили казачки шиночки проверять. Пошел с ними Митяй. Увидел шинкарочку. Больно приглядна. Девка, как есть без пороку. Говорит ей:

   – У меня, красавица, каждая косточка, каждая жилка, кажись тебе радуется.

   А сам думает: «Откуль у него такие слова взялись?» Аж сердце у самого защипало.

   – Речи твои медовые, – отвечает ему шинкарочка, – тока у меня другой на примете имеется, ни тебе чета.

   – Ладно, – говорит Митяй. – Быть так, коли пометил дьяк.

   А сердце еще больше заныло. Глядь, а около него Страх на лавке пристроился, чего-то выжидает. Митяй как уважил его кулачищем между глаз.

   – Что щеришься, корявый?

   Визг тут поднялся. Весь шинок перебудоражил. Кинулись землячки к Митяю, мол, перепил маленько. Успокойся.

   – Ничего, – отвечает Митяй, – я еще посижу.

   Вот сидит. Заговорило у него ретивое. Захотел он порешить дело в один прием.

   – Проводи меня, раскрасавица, до крыльца, чтой-то я намахорился, проветриться надоть.

   Довела шинкарочка его до крыльца. Ухватил ее Митяй. Бросил поперек седла. Гикнул. И был таков. Льет шинкарочка слезы, голосит по отцу-матери, по милому дружку.

   – Умру я, девка, в чужедальней стороне, неоплаканная… Ты не жди меня, миленький, в глухую ночь… Ты не жди меня, хорошенький, на белой заре… Чему быть – так верно сбудется…

   Не слушает ее Митяй, коня торопит.

   – Може, – говорит, – на свое счастье едешь.

   Вернулся казак домой с молодой женой. Раскрасавицей. Тока печальной больно да молчаливой.

   Вон сколько наград на груди поблескивает, но сторонятся люди Митяя, дружбу не водят, даже годки, и те поспешали при встрече обойти стороной. Митяю это не в тягость. «Квелый народец пошел, – думает, – завидки их берут. Вот и гузынятся». А сам за собой ничего не видит. Слова ему поперек не скажи. Если сам что скажет – как отрежет, все по его будет. Пытались старики его урезонить. Да где там, гордыня через край хлещет.

   Жена принесла ему двойню: мальчика и девочку. Подошел он к сыну. Тот плачет-заливается. Махнул рукой – не в его породу, а на дочку и смотреть не стал.

   Потомился он еще малость дома и засобирался в дальние края.

   – Хочу, – говорит, – себе ровню найти.

   Мать к нему.

   – Мы-то с отцом старые. Как же детишки без кормильца?

   – Ничего, перемогите. Мне, – говорит, – здесь тошно за плугом ходить да косой махать. Чтоб я на это жизню положил? У меня другое предназначение.

   И уехал.

   Лет десять, а може и поболе того, не было Митяя в родных местах. В каких краях его носило, где пути-дороги его лежали, одному ему ведомо.

   Видят люди, едет Митяй, едет. Сам черт ему не брат. Годы его не берут. Какой был, такой и остался. Значит, не припало ему себе ровню найти. Сидит в седле, как влитой. Та же стать, та же сила из него идет. Подъехал он к своему подворью. А оно крапивой да лебедой заросло. На том месте, где курень стоял, ямы да колдобины. Рассказали ему соседи, что, мол, умерли старики сразу же после его отъезда, а за ними и женка убралась.

   – А дети, – спрашивает, – где?

   – Дети по людям пошли. И пропал их след.

   Глядит на Митяя народ, хотя бы слезинку проронил иль слово какое сказал. Вот твердокаменный! Сел Митяй на коня.

   И в галоп его пустил.

   Загнал Митяй коня до смерти. Бросил. Пошел дальше пешки. Идет, себя не помнит. Подошел к омуту. «Эх, жизнь пустая. Ничего в ней не нашел».

   И в омут – головой. А из омута сила неведомая его на берег выпихнула. По воде пузыри пошли. Вынырнул Водяной и говорит сердито:

   – Я тя знаю. Ты Митяй – казак бесстрашный. Ты мне здесь такой не нужон.

   Отошел Митяй от омута подале. Упал на лугу. Трясет его тело. Водит. Судорогами бьет. То в жар, то в холод бросает. Забылся на час. Через сколько очнулся, не помнит. Ладонью по лицу провел. А оно мокрое. От слез-то, мокрое. С мальства не плакал. И вот тебе! Сердце размякло. На душе потеплело.

   Лежит Митяй, голубым небом любуется, каждой травиночке, каждой букашечке радуется. Хряснула ветка. Вздрогнул Митяй. «Никак, испугался». Обрадовался. «Теперь как все люди заживу, – думает, – детишек сыщу. Прощения попрошу. Авось примут». Сомнение в себе появилось. Думы одолевают. Родителей, жену вспомнил. Закручинился. На душе засаднило. Раскаяние Митяя за сердце взяло. Привстал казак с травы. Смотрит. Глазам своим верить не хочет. Над ним Страх сидит. Лыбится, довольный. А за ним Смерть стоит молча, свой черед ждет.

   Повело Митяя, передернуло. Лицом белый стал, как мел. Колени перед ними преклонил.

   – Погодите, – говорит, – дайте детишек найтить. На ноги поставить. А потом сам к вам приду.

   – Нам годить не досуг, – говорит Страх. – Я тебя столько годов ждал, когда ты меня позовешь.

   – Что ж, – говорит Митяй. С земли встал. – Бери, косая.

   И к Смерти обращается. А она ему в ответ:

   – Должен ты страдание в этой жизни принять. Без этого я тебя к себе не возьму. И отвернулась. Говорит Страх:

   – Вот я тебя по лесам, по долам повожу. Примешь переживания, что тебе отведены, а там Смерть тобой займется.

   И повел Страх Митяя над пропастями глубокими, по мосточкам шатким, по болотам топким, по пустыням жарким… Побелел Митяй, как лунь, руки-ноги скорчились, дрожат. Пришел черед Смерти. Стала она у него жизнь по капле отнимать, приговаривать:

   – Не видать тебе, Митяй, своих детушек. Некому тебя будет хоронить, никому ты ненужный.

   Натешилась Смерть над Митяем досыта. Бросила у дороги. Лежит Митяй, последняя капля жизни в нем еле-еле теплится.

   А по дороге едут дети с сенокоса, брат да сестра. Увидели, человек лежит, а над ним вороны кружат. Лошадей остановили. К нему кинулись. Ворон распугали. Уложили на телегу. Улыбнулся Митяй напоследки и умер. Привезли его на хутор, обмыли тело. Похоронили. Поплакали вдосталь.

   То и были дети Митяя, сын да дочь. Узнал их, видно, перед смертью отец.

**Оборотень**

   В одной станице жил колдун по прозвищу Жогша. Настоящего его имени никто из станичников и не припомнил бы сразу. Жогша да Жогша. Народ его побаивался, он как бы этим довольный был. Действительную Жогша не служил. Нашли у него какой-то в теле изъян и дали ему отступную. Жил он один, ни с кем не знался. Потом взял к себе племянника вскормленником, на воспитание как бы.

   Племянник его телесами был здоров, да ин-да умом слегка недовольный. Вечно ему от ребятни на орехи доставалось из-за его тугоумия. Жаловался племянник дяде на обиды, доносил ему о проделках ребятни. За что обзывали его «девкой губошлепой». Для казачонка позорней слова не придумаешь.

   А верховодил над ребятней Минька, первый выдумщик и первый зачинщик ребячьих проказ. Не было ему в этом равных. Пройдет ли проказа даром или взъедет ему на шею, ему кубытъ все равно. Одно знал твердо Минька: проказа должна быть достойна казака, чтобы не пропасть ему в общем мнении.

   Мать Миньки вздыхала горестно.

   – У всех дети как дети, а мой сынок заполошенный,

   – Опять заялдычила, – досадовал отец, – ты на своих дочек возлюбленных посмотри.

   Защищал отец Миньку, но если проказа выходила наружу, спуску не давал, в строгости его держал.

   Вот однажды играли казачата в прятки. Забежал Минька в заброшенный сарай, закопался в старую солому. «Тута, – думает, – ни за что не найдут, обыщутся». Вдруг видит, корова в сарай вошла, а за ней Жогша. Встал он напротив коровы. Уставился на нее зенками. Та засмирела, голову опустила, даже хвостом перестала махать. И молоко у нее из вымени само-собой потекло прямо наземь. Оторопел Минька. Испугался. Вон какими делами Жогша занимается. А корова-то соседская, видать, от стада отбилась. Соседка была вдовая, у нее детей мал мала меньше. Зачем-то ей пакостить! Взяло Миньку за живое. «Ну, – думает, – ведьмак киевский, погоди, удружу я тебе козью морду».

   Вспомнил он, как Жогша нищих погорельцев кислым молоком угостил. Дал молока не мешочного, а кадочного, пригорклого, такого, что добрые люди и победнее сами не едят, а употребляют для выделки овчин. Потом у нищих от этого угощения животы и повспучило…

   Слоилась корова, довольная замычала, хвостом замотала. Выгнал ее Жогша из сарая и потом сам ушел.

   Минька из соломы выбрался, не до игры ему. На уме только одно: чтобы такое Жогше

   замозголовить. Идет он по улице задумчивый. Слышит, окликает его кто-то. Оглянулся – Жогша. Зовет его к себе. Струхнул Минька, но виду не подал. Глаза у Жогши темные да злые. Схватил он Миньку. Ухо ему накрутил. Распухло оно, как вареник. Стерпел это Минька. Ждет, что дальше будет.

   – Это тебе за то, что со мной не поздоровкался. Так отцу и передай. И отпустил Миньку. Пришел он домой. Отец спрашивает:

   – Чо ухо оттопыренное, лазоревым цветом цветет?

   – С Жогшей не поздоровкался.

   Мать руками всплеснула: мыслимо ли дело Жогшу в досаду вводить. Отец насупурился. Взял минькино ухо да как крутнет! Слезы у того из глаз так и брызнули.

   – Это, чтоб помнил, – говорит отец, – старших уважать надо.

   В те времена строгости были большие. В станице в свычае было со всеми здоровкаться по несколько раз на дню. Младший старшему всегда первым должен уважение оказывать, «Ладноть, – думает Минька, – однако ж я все одно с Жогшей здоровкаться не буду».

   Не задержалось у него, замозголовил он проказу. Выждал Минька, когда ни Жогши, ни племянника дома не было, и залез к ним в погреб. Батюшки мои! А там всего вдоволь: и говядины соленой, и масла, и яиц, а о молоке и каймаке говорить нечего: этим добром хоть пруд пруди. Набросал Минька в кадки да горшки дохлых мышей, кузнечиков, гусениц и всякой твари. И был таков. Жогша, обнаружив такое, чуть не дошел до конечного отчаяния. Побежал он к атаману жаловаться.

   – Это Минька напрокудил. Его рук дело, больше некому.

   Атаман призвал Миньку к допросу. Тот не заробел, говорит атаману:

   – Чем на меня напраслину наводить, ты б Жогшу приструнил маленько. Снедь, небось, порченная была, вот и погибли твари ни за грош. А если б люди отведали, что тогда?

   Засмеялся атаман: ловок шельмец, что с таким будешь делать. А Жогшу поначалу оторопь взяла, а когда ж в себя пришел, хотел Миньку за вихры ухватить, но тот не стал этого дожидаться, увернулся:

   – Ну-ка, дале с табаком, дай дорогу с пирогом.

   И на крыльцо правления выскочил. Слышит, кричит Жогша:

   – Одрало бы тебя!

   Засмеялся Минька. Ловко получилось. Дома, конечно, отец калашматки задаст. Зато Жогшу проучил.

   Далее начались с Минькой случаи разные выходить. Попервам он им значения не придавал. Забежал к ним во двор черный кочет. Завидел Миньку, стал на него кидаться. Ах, ты, нечистый дух! Прыгает на парнишку, норовит глаза выклевать. Еле-еле отбился Минька, в сарай забежал. Гневается кочет, клекочет. От двери не отходит. Мать из хаты вышла, Миньку позвала. Он из-за двери нос высунул: нет ли кочета? Нету. Дух перевел. Мать смеется: видано ли дело, чтобы Минька в сарае сидел. А ему не до смеха. Да и стыдно стало, что кочета испугался.

   Сколько времени с тех пор прошло – никто не считал, сидел Минька на крылечке, вдруг к его ногам клубок черной пряжи подкатил. Интересно парнишке, ждет, что дальше будет. А клубок круголя сделал да начал минькины ноги опутывать-стягивать. Страшно стало Миньке, силится он нитки разорвать да не тут-то было! Нитки, как железные, стянули обручами ноги, стали тело опоясывать. Дух заняло.

   Вдруг отец во двор заходит.

   – Ты чо, расселся, – говорит, – на ярманку пора ехать.

   – Счас, – отвечает Минька, а сам с духом собраться не может.

   Третий случай вышел, когда Минька уже женихаться начал. Идет он как-то с посиделок. Луна полная, светло как днем. На улице никого. Тихо, даже собаки не брешут. Вдруг из проулка кабан выскочил, такой здоровущий хряк. И понесся на Миньку во весь опор. Того и гляди, с ног собьет.

   Не растерялся Минька, каменюгу ухватил да как метнет в кабана. Попал ему прямо в лоб. Остановился кабан, закачался. На передние ноги упал. Выдернул Минька кол из плетня и начал его обуздывать. А тот очухался. В себя, видать, пришел от минькиных угощений. Заюзжал. Минька, недолго думая, вскочил на него верхом. Кабан понесся пулей. Дух захватывает. Понукает его Минька и по бокам не забывает наяривать.

   За станицей упал кабан без сил, носом кровь пошла. Глянул Минька, а под ним-то не кабан, а сам Жогша лежит. Вот такие дела!

   Взмолился Жогша:

   – Не бей ты меня, пожалей… Бросил палку Минька.

   – Так это ты на меня кочетом налетал да пряжей опутывал?

   – Я то был…

   Разозлился Минька, в пору хоть опять за палку взяться да бока колдуну перекрошить.

   – Отпусти ты меня, – просит Жогша и горько плачет, – не буду я больше никому вреда делать.

   – Ну, смотри у меня, ежли что, не спущу я тебе, заставлю из песка веревки вить.

   Оставил Минька Жогшу и домой пошел. Мать на стук двери встала, лампу зажгла. Увидела Миньку, руками плесь.

   – Ты что такой замусатенный? Всё ли благополучно?

   А Минька отвечает весело.

   – Нет, не все. Мыши кошек стали есть, воробьи коршунов ловят, на станичной колокольне кобыла повесилась, а соседкин кабан Жогшей нарядился.

   Махнула мать рукой:

   – Ложись спать, мелево!

   После этого случая Минька нос закопылил. Как же, самого Жогшу одолел. А Жогша с полгода из дома не выходил, хворый лежал. Приутих, сбил с него Минька форс. Да надолго ли? Затаился по-всему колдун до времени, случай подходящий выжидал, как обиду выместить.

   Время пришло, понравилась Миньке девица по имени Татьяна. Бывало, сколько разов мимо нее проходил и ничего, не появлялось у Миньки на сердце сладкого щемления. А увидел-разглядел он ее на игрищах. Стояла Татьяна у дерева, ядреная да румяная, залюбуешься. Подошел к ней Минька.

   – Эх, щечки, – говорит, – точно яблоки. Поди ж и твердые такие. Дай потрогаю. Татьяна ему эту вольность не спустила.

   – Уйди, шабол! – говорит. – Куды руки тянешь? Не твое – не трожь!

   – Дай срок.

   Посмеялся Минька, однако ж встрепыхнулось его сердце. Не привыкший казак отступать. Если с одного бока отлуп получил, он с другого зайдет. Добился он-таки татьяниного расположения и любви до самого конца жизни.

   Сосватали Татьяну за Миньку. К свадьбе приготовились. Спохватилась мать: Жогшу не пригласили – долго ли до беды. Минька мать успокоил.

   – Не беспокойся, я сам до него донесусь.

   Обрадовалась мать, никак Минька за ум взялся. А тот идет, посмеивается, решил Минька про себя колдуна на свадьбу не приглашать. А вот изведать его надо, да строго-настрого предупредить, чтоб не баловал.

   Зашел Минька в хату к Жогше – нету никого, В кухнешку заглянул – нету, на базы – тож. Видит, над погребом дверца открыта. Минька туда. Так и есть. В погребе колдун.

   Над кадушкой склонился, нашептывает что-то. Батик его змея обвила, шипит в ответ. «Опять затевается старый хряк, – подумал Минька, – вновь что-то замыслил». Закрыл он дверцу в погреб, в сердцах камнем привалил и крикнул:

   – Приходи на свадьбу, Жогша!

   А в ответ ругательства да проклятья.

   Дома мать Миньку спрашивает:

   – Ну как, пригласил Жогшу?

   – Пригласил.

   – Придет?

   – С полным удовольствием.

   Вздохнула мать с облегчением. Куда уж тут! Если колдуна на свадьбу не пригласить, то быть большой беде.

   Минькина свадьба весело началась, радостно. Красные флаги трепещут. Кони ржут. Кисти-ленты на дугах развеваются. Колокольцы-бубенцы звенят, заливаются. Съездили за невестой, потом в церковь. Обвенчались, домой вернулись. Все чин по чину.

   Начали за стол садиться, а невеста ни в какую. Лихоматом ревет.

   – Не буду я с Минькой садиться. Он же страсть какой рябой.

   Не поймут гости, в чем дело. Невесту уговаривают. И так и сяк. Бились-бились. Вдруг слышат голос.

   – Ты меня на свадьбу приглашал, вот я пришел.

   Глянули, в дверях Жогша стоит. Руки лодочкой сложил, нашептывает что-то. Чувствует Минька, ноги как будто в пол вросли.

   – Смотри, – говорит Жогша, – какая еще комедь-потеха будет.

   Посуда на столе ходуном заходила. Гости вповалку повалились. На рачках ползают. Друг на друга гавчут.

   Зашевелились волосы у Миньки, ни думал, ни гадал, с огнем, выходит, шутковал. Вона какая сила у колдуна.

   – А зараз, – говорит Жогша, – я сине море сделаю.

   Гости с пола повскакивали. Заголяются, как будто в брод через воду идут. Кто на лавку заскочил, кто на печь полез.

   – И тебя я зараз подкую, – говорит колдун.

   Почувствовал Минька, потянуло его в разные стороны. Голова загудела. И сомлел он.

   Очнулся Минька, в кровати лежит. Тело болит, словно кто ножами изрезал, все в красных рубцах. Грудь давит, дыхнуть невозможно. Видит Минька, мать рядом сидит, слезы льет, спрашивает:

   – Где Татьяна?

   – Дома. Обморок ее накрыл. Еле оттрясли. Говорила я тебе: не связывайся с Жогшей.

   Махнул рукой Минька, что, мол, теперича рассуждать, встал, оделся и к Татьяне пошел.

   А та, как его завидела, прочь со двора погнала:

   – Терпеть тебя ненавижу как!

   «Знать, любовь твоя невысокая была», – подумал Минька и поплелся восвояси. И вдруг подходит к нему Жогша.

   – Опять ты, Минька, со мной не здоровкаешься, – говорит, – А я вот туточки тебя поджидаю. Хочешь, хомут сниму?

   Молчит Минька, нет сил возражать, колдун, будь он трижды неладен, верх над ним взял. Кивнул только в ответ головой.

   – Ну, тогда приходи вечерком за околицу.

   Как солнышко село, пришел Минька за околицу. А там его уже Жогша поджидает. Довольства своего не скрывает. Забрался верхом на Миньку колдун.

   – Я-то на тебе еще не катался верхом. Ну-ка, неси меня в лес.

   Вздохнул Минька, деваться некуда, понес Жогшу в лес. Долго Минька по лесу кружил, упыхался. Луна уже взошла.

   – Вот тута самый раз будет, – говорит Жогша и слез с парня.

   Огляделся Минька, видит, стоят они на поляне у большого пенька. Жогша вытащил нож с медной ручкой, воткнул его в пень, пошептал что-то над ним.

   – Прыгай, – говорит, – через нож.

   Разбежался Минька и кувыркнулся через пень. Упал в траву. Чувствует; ногти у него выросли, превратились в когти, руки лапами стали, и все тело покрылось мохнатой шкурой. Хотел Минька закричать, и раздался протяжный вой.

   Захохотал Жогша.

   – Быть тебе волком за твою овечью простоту.

   Вытащил нож из пенька и пошел в станицу. Хотел было Минька-волк кинуться на колдуна да разорвать его в клочья, однако ж неведомая сила не пустила. Завыл Минька-волк, чтобы муки свои выразить. Из его глаз потекли слезы в три ручья.

   Погоревал Минька-волк, погоревал и в станицу подался. Собаки брех подняли, спасу нет. Добрался-таки он до своей хаты. В дверь пошкрябал лапой.

   – Мать, – говорит, – мать, выйди на час.

   Услыхала она голос родного сына, выскочила в чем была из хаты. А на крыльце волчина стоит. Закричала мать, позвала на помощь. Кинулся Минька-волк в бега. Слышит отец с берданы выстрелил. В родного-то сына!

   Отдышался Минька-волк в лесу. «Все, – думает, – нет мне возврата к прежней жизни, пропадай моя головушка». И озлился Минька-волк на весь белый свет. Начал он людям досаждать, скотину у них резать. Слухи по станице пошли: волк-то не простой – оборотень. Пуля его не берет, в яму его никакой привадой не заманишь. Решил атаман всем миром на оборотня облаву устроить и сдыхаться от него таким манером раз и навсегда.

   Обложили Миньку-волка со всех сторон. Собаки брешут, рожки гудят, трещотки трещат – куда податься? Кажется, погибель неминуемая настала. Видит Минька-волк, хибарка перекособоченная стоит, а около нее старуха в три погибели согнутая притулилася. Кинулся к ней Минька-волк, на брюхе подполз, о помощи просит. Покачала головой старуха.

   – Зачем людям досаду чинил? В чем они перед тобой виноватые?

   – Справедливы твои слова, – отвечает Минька-волк. – Тока в чем моя вина? От чего шкура на мне волчья?

   – Нет твоей вины, – говорит старуха. – Иди в хату, а я покуда погоню отведу.

   Зашел Минька-волк в хибарку. А там прохлада, полумрак; в углу над образами лампадка теплится. Приютно стало ему, хорошо. Вскорости и старушка появилась. Спрашивает его, что да как с ним приключилось. Рассказал ей Минька-волк про свою жизнь по порядку.

   – Страсти Господни, – говорит старуха. – Но как твоей беде помочь, ведаю. Перво-наперво надобно нож колдуна сыскать.

   – Так нож-то у Жогши. – Не будет он нож при себе держать. Прячет где-нибудь.

   Вышли они во двор. Крикнула старуха.

   – Эй, вы, птицы небесные, высоко летаете, далеко видите!

   Слетелось тут птиц видимо-невидимо. Солнышко загородили. Просит их старуха посмотреть, нет ли ножа с медной ручкой на небе. Облетели птицы все небо и вернулись ни с чем.

   Позвала тогда старуха зверей, попросила их нож Жогши сыскать. Звери под каждый кустик заглянули, каждую травиночку обнюхали, каждую норку пролезли: нет ножа.

   Пошли старушка с Минькой-волком к озеру. Позвала она рыб, попросила уважить ее, найти нож колдуна. Рыбы все глубокие омуты просмотрели – нет нигде ножа.

   Развела старуха руками. Как тут быть? Понурился Минька-волк. Вдруг рак на берег выползает, старый-престарый, в клешне нож заветный держит. Обрадовалась старуха, Минька-волк от нетерпения лапами землю зарыл.

   Поблагодарили они рака и пошли тот самый злосчастный пенек искать. Пока искали, стемнело, и луна взошла.

   Воткнула старуха нож в пенек, пошептала что-то над ним и говорит:

   – Давай прыгай через него, тока теперича с обратной стороны.

   Прыгнул Минька-волк, перекувыркнулся, упал в траву. Чувствует: когти в ногти превратились, лапы – в руки, и волчья шкура враз слезла.

   Обрадовался Минька, засмеялся, в пляс пустился. Улыбается старушке, мол, потешься, что уж тут. Хорошее дело получилось.

   Поклонился Минька старушке в пояс, поблагодарил, домой-де надо возвертаться.

   – Да нет, – говорит старушка, – еще не время тебе со мной прощаться. Измучена твоя душа, грехи не угадывает. Должна я тебя уму-разуму научить, чтоб от тебя людям помощь была.

   Захурбенился было Минька, но потом поразмыслил, а ить права старушка: страшная сила у Жогши, его на дурака не возьмешь.

   Остался, значит, Минька у старушки знахарские науки постигать. Большое терпение в этом деле проявил.

   Однажды старуха ему и говорит:

   – Вот теперича пора тебе возвертаться. Запомни на всю жизнь: наше дело – людям помогать, со злом бороться. Иди, как раз на праздник попадешь.

   «Что за праздник такой», – подумал Минька, но спрашивать застеснялся.

   Благословила его старушка. И отправился Минька в путь-дорогу.

   Пришел он в станицу, а там никак свадьба идет. Жогша племянника своего на Татьяне женит. Скрепил сердце Минька и прямиком к дому колдуна направился.

   Заходит в хату. Грустная, однако, свадьба у колдуна получается. Гости сидят приструненные, веселых речей не говорят, шуток-прибауток не слыхать. Татьяна бледная за столом сидит, щеки яблочные опали. Встал Минька у дверей и стоит. Поднял Жогша глаза на него, передернулся, продрало, видать, его.

   – Двум медведям в одной берлоге не ужиться, – говорит колдун.

   – Так-то, медведям, – отвечает Минька, – а мы же люди.

   Итак беседа у гостей не клеилась, а тут совсем приутихла. Смотрят все на Миньку, что за гость? Не угадывают.

   Встала Татьяна из-за стола, рюмку водки Миньке поднесла. Глаза у нее невидящие. Эх, Жогша, Жогша, сколь ты горя сотворил! Выпил водку Минька, а пустую рюмку через левое плечо бросил.

   Вопль раздался страшенный. Глянули гости, а Жогша к потолку задницей прилип и отлепиться не может, руками-ногами сучит.

   – Отпусти меня, – просит.

   – Я тебя раз отпустил, – говорит Минька, – вона как все обернулось.

   Упал Жогша с потолка: по-лягушечьи запрыгал, кочетом закукарекал, по-свинячьи захрюкал, по-змеиному зашипел.

   Тут Татьяна как закричит, видать, чары колдовские с нее сошли.

   – Минечка, болезный мой, кровинушка моя! Возвернулся!

   Того и гляди, сейчас упадет. Подхватил ее Минька. Повскакивали гости. Миньку тормошат, обнимают. Гляди ты, докой заделался! А тут все думали, что запропал уже в дальней стороне.

   Когда хватились – нету Жогши, А вроде из хаты никто не выходил. Один племянник колдуна за столом как оплеванный сидит, губами шлепает, слова сказать не может.

   – Ну-ка, ищите то, чего в хате не было, – скомандовал Минька.

   Начали осматривать хату люди: кто его знает, что тут было, чего не было. Заметил Минька под столом осиновый колышек. С пола поднял.

   – Нашелся-таки, – говорит.

   Вытащил Минька нож с медной ручкой, колышек обстругал и за дверь его выбросил. Застонал кто-то во дворе, заохал. Высыпал народ из хаты. Нету никого.

   Минька Татьяну обнимает. А та с него глаз не сводит. Ластится.

   Говорит Минька:

   – Пойдемте, гости дорогие, мою свадьбу доиграем. Чай, не напрасну собралися.

**Огненный змей**

   Проводила Аксинья своего мужа Петра на войну. Месяц прошел, другой. Нет от него весточки. Тревожно ей, не спится. Черные думы одолевают. Сидит Аксинья как-то ночью у окна. Луна такая большая, полная, льет в окрест серебром. И решила казачка по луне погадать, про мужа разузнать. Сидит и ждет, что же ей покажется.

   Вдруг видит по лунному свету ручеек окровавленный заструился, да прямо ей в окошко и по полу лужицей растекся.

   Застонала Аксинья: дурная примета. В сердце незнаемое горе проникло. Горько ей стало. Хуже смерти! Такое горевание на нее навалилось. Расплакалась-разрыдалась казачка.

   Как-то раз на сенокосе Аксинья шурудит граблями траву, а сама думает: «Вот бы Петр вернулся, и красное солнышко для меня снова б засветило». Только подумала, подняла голову, видит, Петр на коне с горки едет. Рукой ей машет. Одетый чисто, во все форменное. У коня грива длиннющая-длиннющая по земле стелется. Бросила Аксинья грабли и к нему навстречу побежала. Петр с коня прыгнул. Припали они друг к дружке, слов от счастья не находят. Конь около их топчется, ржет. Аксинья возьми да спроси:

   – Что это у коня грива такая длиннющая?

   Петр отвечает:

   – А на войне у всех так. Нашла о чем спросить.

   Засмеялась Аксинья:

   – И вправду, что это я. Слава Богу, что вернулся жив и здоров.

   Хватилась – нету никого вокруг: ни Петра, ни коня. Стоит она в лесу и дерево обнимает. Знать, привиделось ей все.

   Не до работы Аксинье стало, пошла она домой. Калитку открыла. Видит через окно, в хате Петр сидит, чай пьет. «Как он туда попал, – подумала Аксинья, – дверь-то на запоре». Отперла дверь, в хату вбежала: нету никого. И посуда вся на месте, нетронутая. Туда-сюда заглянула: нету, никогошеньки нету. Опустилась казачка на пол без сил, заплакала.

   Вечером корова с пастбища пришла, мычит, хозяйку требует. Хочешь, не хочешь, а вставай. Буренку доить надо.

   Зашла Аксинья в хлев, только было наладилась корову доить, за титьки ухватилась, слышит, сверху по сеннику ходит кто-то. Она ведро на гвоздок повесила, взяла фонарь и по лесенке вверх полезла. Видит, из сена сапоги торчат, верно человек лежит.

   – Петр, это ты? – спрашивает Аксинья. Молчание в ответ.

   – Откликнись, Христос с тобой!

   Сено зашуршало, сапоги исчезли, и дверь в хлеве ветром отворило.

   Ну, ладно. Голова у Аксиньи горит, кругом идет, как в бреду, а страха в душе не чувствует. Подоила она корову, молоко процедила, поужинала и спать легла.

   В полночь слышит Аксинья, в сенях зашаркал кто-то. Дверь отворилась: нету никого. Вдруг одеяло с Аксиньи слетело на пол, и кровать сдвинулась. Встала казачка, лампу засветила. Петр перед ней стоит.

   – Ты живой? – спрашивает Аксинья.

   – Видишь, живой остался, – отвечает Петр. – Иди коня устрой, а я пока разберусь.

   Вышла она во двор, коня расседлала, в стойло поставила.

   В хату вернулась, а Петр уже в постели лежит, к себе манит. Легла с ним Аксинья и как бы сама не своя: вроде бы и ее Петр, а вроде бы и нет.

   А он к ней ласкается. Услаждает речью лебединою. В горячих объятиях заигрывает. От его поцелуев горит Аксинья румяной зарей. От его приветов цветет красным солнышком. Такого молодца и не любя полюбишь.

   Лежат они в постели. Она ему руки в кудри буйные запустила, пальцами по голове водит.

   – Ой, Петр, – говорит, – у тебя голова-то вся в шишках, волнистая такая.

   – Меня, – отвечает Петр, – как на войну взяли, так тока раз в бане и вымылся. Опаршивели мы там все.

   – Так давай я тебе баню истоплю.

   – В другой раз, – говорит он, – сейчас не досуг.

   Удивительно это Аксинье, но она ни слова, ни полслова не сказала.

   На рассвете прощается с ней Петр и говорит:

   – Ты никому обо мне не говори. Я крадучись к тебе буду ходить.

   К вечеру ближе одолевают сомненья Аксинью: ее ли это Петр? Перед тем, как спать ложиться, взяла она золы и рассыпала по полу.

   В полночь пришел опять Петр. Ласкается опять к Аксинье. Любится. Расстаяли у нее сомнения, как прошлогодний снег. На рассвете ушел Петр. Утром смотрит Аксинья, нет следов на золе. Неужель нечистый дух к ней ходит. Закручинилась казачка, что делать – не знает. Весь день по двору прометалась, работа из рук валится.

   А ночью Петр заявился. К ней подступается. Она от него. Он опять к ней. Она от него.

   – Ты что меня боишься? – спрашивает Петр.

   – Нет.

   – Тогда собирайся, я за тобой. Нечего тебе здесь одной мучиться.

   – Сейчас, – говорит Аксинья, – я только вещи соберу.

   А сама думает: «Вот она, моя погибель пришла». Собирается она в дорогу, а Петр ее торопит.

   – Долго я тебя ждать буду?

   – Счас, – говорит Аксинья, – бусы никак не найду.

   Нашла она бусы и незаметно нитку порвала, рассыпала бисер по полу. Начала Аксинья бусинки собирать.

   – Э-э, да это долгая песня, – говорит Петр.

   – Не могу бусы бросить, ить матерна память.

   Собрала она весь бисер, только одной бусинки не хватает.

   Кочеты тут закричали, топнул ногой Петр, рассыпался искрами и исчез.

   Чуть заря зарумянилась, побежала Аксинья к бабушке-знахарке. Рассказала ей все, как есть.

   Вот знахарка ей и говорит:

   – Да это не муж твой вовсе, а огненный змей к тебе летает.

   Расплакалась Аксинья, грех-то какой! Что делать? Посоветовать знахарку просит.

   – Ты, – говорит старушка, – крестов на двери, на окна наставь, а сама сиди, молитву читай. Звать тебя будет змей, не откликайся.

   Пошла Аксинья домой. Мелом наставила крестов на окнах да дверях и печную заслонку не забыла, крестом пометила. Как только свечерело, стала Аксинья на колени и начала молитву творить.

   В полночь прилетел огненный змей, рассыпался искрами. Ходит вокруг дома, топотит, зайти просится, ласковые речи говорит, упрашивает. Не слушает его Аксинья, поклоны бьет.

   Разозлился огненный змей, стал хату валить. Зашатались стены, затрещал потолок, вот-вот обрушится. Аксинья даже и не шелохнулась.

   – Ладно, что догадалась, – говорит огненный змей, – а то не быть бы тебе живой.

   И улетел. И больше не объявлялся.

   Аксинья после этого вроде на поправку пошла. Однако ж нет-нет да и вспомнит Петра и зальется горячими слезами. Пусто на душе ей без мужа, нету жизни.

   Оседлала она лошадь и пустилась в путь-дорогу. «Где бы ты ни был, – думает, – все равно я тебя найду».

   И вправду нашла. Видит Аксинья, над одним местом воронье кружит. А рядом боевой конь ходит, воронье отгоняет. Подошла поближе. Петр бездыханный лежит. Весь изранетый.

   Села около него казачка и в голос закричала.

   – Друг ты мой милый, любимый! Болечка кровный, привалил ты мое сердечушко гробовым камнем тяжелым. Засохну я без тебя, желанный мой, как былинка одинокая! Запекутся, поприсохнут губы мои, не целуючи тебя, ненаглядный мой! И змеей тоска сосет сердечушко мое! Так бы и лег в сыру землю, так бы и расшибся о камень в степи немой! Горькая я кукушка в зеленом садочке…

   Вдруг чувствует Аксинья – кто-то тронул ее за плечо. Обернулась она и видит сквозь слезы, стоит перед ней побирушка. Старая-престарая. Уродина горбатая.

   – Разве такому горю криком поможешь, – говорит побирушка.

   – Я бы, – говорит Аксинья, – все отдала, лишь бы мой сокол сизокрылый жив был и здоров.

   Заинтересовалась побирушка и пытает Аксинью:

   – Отдала б, не задумалась? А молодостью да красотой своей поступишься?

   – Отчего не поступиться, – говорит казачка, – ради милого друга. Мне все равно без него жизнь не в жизнь.

   – Тогда я тебе помогу, – говорит побирушка.

   – А как же я тебе молодость и красоту отдам?

   – Это моя забота, сама возьму. Так они и сладились. Полезла побирушка в суму, вытащила два пузыря.

   – Вот тебе вода мертвая, а это, – говорит, – вода живая.

   Как взяла Аксинья пузырьки, видит – руки морщинами покрылись, затряслись. А побирушка на глазах стала меняться. Смотрит на нее казачка и думает: «Неужели я такая статная да красивая была? Никогда о себе так высоко не думала».

   Побирушка спрашивает:

   – Ну как, ни о чем не жалеешь?

   – Да о чем жалеть, – отвечает Аксинья, – дело сделано.

   Залезла побирушка на лошадь и поехала прочь.

   А Аксинья обмыла раны Петру мертвой водой. Заросли раны, будто их не было. Окропила его живой водой. Вздохнул казак. Глаза открыл.

   Видит, сидит перед ним старуха, страшная уродина. Сдержал себя Петр.

   – Спасибо, мать, что разбудила.

   С земли вскочил. Говорит:

   – Легко-то как! И засмеялся.

   – Домой пора. Жена меня заждалась.

   Свистнул своего боевого коня. Вскочил на него одним махом. Видит, у старухи слезы льются.

   – Ты что, мать, закручинилась, слезы льешь? Може, чем подсобить?

   А та в ответ:

   – Мне от этой жизни ничего не надо. Всем я довольна. А слезы от старости сами льются.

   – Ну, тогда, – говорит Петр, – прощевай. Не поминай лихом.

   – Прощевай, – говорит Аксинья. И рукой ему махнула, поезжай, мол, с Богом, не до тебя тут.

   И поехал казак в одну сторону, а старуха пошла в другую.

**Своенравная жена**

   Жил-был казак по имени Игнат. Сам из себя видный. Здоровенный такой, батареец. Усы торчком. Грудь колесом. Об лоб хоть поросенка бей, ему хоть бы что! Всем казак взял. Вот настала пора жениться. Приглянулась ему одна молодица. Маленькая такая, худенькая. И лицом не вышла. И чего он в ней такое нашел? Вся родня против была, а Игнат уперся на своем, хоть кол на голове теши.

   – Люба она мне, и все. Если не посватаете, совсем не женюсь.

   Делать нечего, если такая любовь. Кто ж устоит. Поженили их. День живут молодые, два, песни поют. На третий спор у них вышел. Жена-то хоть с виду незавидная, характер до чего ж вздорный имела. Игнат ей слово, она ему два. Он ей два, она десять в ответ. Скажет он, к примеру: «Свари щец». Так она кашу сварит. Он ей: «Хочу блинов с каймаком». А она щей наварит.

   И пошла у них жизнь. Пупырыть на пупырыть. Не жизнь – мученье. «Ну ничего, – думает Игнат, – ты настырная, а я тебя настырней».

   Вот и показывают друг перед дружкой свою дуроту. Как заведутся, бывало, он ей – брито, она ему – стрижено. Только в песне и сходились. Бывало, как заиграют, вся станица слушает. Это, мол, у Игната во дворе так заливаются. Пошли они как-то в соседний хутор к свояку в гости. Оделись празднично. По дороге опять стали спорить да ругаться. Он ей – брито, она ему – стрижено. Речку надо было перейти. А мосточек жидковат. Гляди, вот-вот развалится. Игнат перешел через мосток первым. И с того берега ей кричит:

   – Смотри, на мостке не трясись. Неровен час развалится, в речку угодишь.

   А жена как до середины моста дошла – и ну раскачиваться да прядать. Мост и развалился. Жена камнем на дно. Игнат в чем был за ней сиганул. Течение быстрое, относит. Нырял, нырял, все без толку. Вылез на берег, кручинится. И пошел к тому месту, где происшествие случилось. Идет и говорит в сердцах:

   – Говорил я тебе, дура, брито – значит, брито.

   Слышит, а из-за кустов ему в ответ:

   – Говорила я тебе – стрижено.

   Глядь, а жена его жива-здорова у кустов стоит, подол отжимает. Невдомек было Игнату, что его жена против течения выплывет. Разозлился казак, аж затрясся весь.

   – Ах ты, такая-сякая! Чтоб ты пропала!

   Смотрит: нет жены. Куда девалась? Походил-походил вокруг да около, под каждый кустик заглянул. Нет жены, пропала. Горевать не стал. На сердце столько уж накипело. Не горюется. Пошел казак домой. Соседям говорит:

   – Пропала жена. Нету. Может, утонула, а може, сквозь землю провалилась. Не знаю.

   День прошел, другой. Совестно стало казаку. Как-никак, а все ж жена. Оседлал лошадь. Приехал к тому месту, где с его женой такие чудеса произошли. Видит: на том месте, где жена стояла, деревце выросло. Приклонился он к нему. Загоревал.

   – Говорил я тебе, брито – значит, брито, не послушалась.

   А дерево ему в ответ жениным голосом:

   – Говорила я тебе, что стрижено, значит, стрижено.

   Схватил казак в сердцах деревце, как травиночку, из земли выдернул с корнем, бросил. И поехал домой. И не заметил, как его лошадь пару листочков с деревца прихватила. Дома расседлал лошадь. И говорит:

   – В кого она у меня такая своенравная уродилась. Говорил же я ей, так нет.

   А лошадь ему жениным голосом:

   – Стр-р-рижено.

   У казака от этого слова земля кругом пошла. Отдышался немного. Взял лошадь за узду и в табун отвел. Пастухам наказал, чтоб глаз с нее не спускали.

   – Я, – говорит, – пока пешки похожу.

   На следующий день табунщик шкуру лошади казаку приносит.

   – Вот, возьми, – говорит, – С яру твоя лошадь сиганула. Не досмотрели.

   И ждет, когда Игнат ругаться начнет. А Игнат шкуру принял, слова в укор не уронил. Только облегченно вздохнул. Зашел в курень, бросил шкуру на пол и прилег отдохнуть. Ну, думает, все, конец потехе. По-моему вышло. Если брито – это не стрижено. А шкура ему вдруг жениным голосом:

   – А стрижено – это не брито.

   Вскочил Игнат как ошпаренный.

   – Все равно, – кричит, – я тебя доконаю. Потому что ты у меня, как кость, поперек горла стоишь.

   А шкура заладила:

   – Стрижено! Стрижено! Стрижено!

   Схватил Игнат шкуру, в печку сунул. Огонь раздул. Соломки подбросил. Запылала шкура. В один миг сгорела. Ночью заснул Игнат мертвецким сном. Сквозь сон слышит: кто-то шепчет ему: «Стрижено, стрижено». Думает, чудится ему. Однако сон как рукой сняло. Прислушался. А из печки голос женин шепчет:

   – Стрижено…

   Догадался Игнат. Зола ему такие поганые слова нашептывает. Смутило казака. Вскочил. Золу из печки выгреб. Печку по кирпичику разметал да за базы выбросил. Взял Игнат мешок с золой. Вышел на улицу. Рассветать начало. Куда бы, думает, эту поганую золу выбросить? Ходил-ходил. Яму нашел. Бросил туда камень. Дна нету. Самое-то то, думает. Отсюда тебе, дорогая женушка, никак меня не достать. И бросил туда мешок. Как камень с души снял.

   Домой вернулся довольный. Отоспался. Отъелся. Вроде бы жизнью довольным надо быть. Так нет, какая-то на сердце маета. Сник казак. Телом опал. Усы отвисли. «Промашка у меня в этой жизни вышла, – думает. – Пойду в яму сам брошусь. Все равно без нее не житье».

   Подошел к яме. Пригорюнился.

   – Соловушка, – говорит, – ты моя певучая, не слыхать мне более твово голосочка.

   Только было собрался, слышит – гул в яме стоит. Крики. То ли кто плачет, то ли кричит не своим голосом. Выскакивает из ямы черт. Шерсть клочьями, хвост поджат. Плачет, слезы размазывает.

   – Забери свою жену, – говорит. – Нет нам житья в нашей преисподней. Ад кромешный. Мы тебе впридачу золота дадим. Сколько хочешь.

   Обрадовался казак.

   – Не надо мне золота, отдайте мне мою женушку. Так мне без нее пусто на сердце!

   Глядь – стоит перед ним жена. Жива-здорова. И говорит:

   – Стрижено.

   А казак головой кивает: ага, мол, стрижено. Сам руки к ней тянет. Норовит обнять. А та не дается.

   – Ну, если, – говорит, – стрижено, тогда брито.

   Казак опять соглашается.

   – Брито.

   Жена руками машет.

   – Мне, – говорит, – с чертями интересней жилось.

   Еле-еле казак уговорил ее домой вернуться. Зажили они с тех пор припеваючи. Захочет казак, к примеру, щец, шумит жене:

   – Свари мне каши.

   Она ему щей наварит. Захочет блинцов с каймаком. Шумит ей:

   – Хочу щей.

   Глядь, а блинцы с каймаком уже на столе. Не жизнь, а сплошное удовольствие. Раздобрел казак. Грудь колесом. Усы торчком. Смотрит соколом. Соседи завидуют – до чего же ладно живут.

   Вот как-то раз приехал к ним с соседнего хутора свояк. Еле на ногах держится. Посмотришь на него – подумаешь, в гроб краше кладут.

   Пока лошадей распрягали, Игнат у него интересуется:

   – Никак, кум, на тебе черти воду возили?

   Вздохнул свояк и в ответ:

   – Угадал. Завелась в нашем хуторе нечисть, ни днем ни ночью покоя не дает.

   Подумал Игнат. Ус потеребил. И говорит:

   – Этому горю только жена моя поможет. Счас, – говорит, я с ней словом обмолвлюсь, только в разговор не влипай. Жена, – кричит, – кум приехал, в гости зовет, да мне что-то не больно хочется.

   А та в ответ:

   – Еще чего! Надо поехать, если зовет. Не чужие-ть.

   – Ладно, – соглашается Игнат, – тогда я один поеду. А ты останешься. За хозяйством присмотришь.

   – Еще чего. Вместе поедем. За хозяйством соседка присмотрит.

   Слушает кум, удивляется.

   Собрались они. Принарядились. И чин чином в гости покатили. Только в хутор заехали, как увидели черти жену Игната, и ну деру кто куда. Народ на улицу вышел. За спасенье Игната благодарят. А тот слушает, усмехается да помалкивает. Женушку свою обнимает. Смотрит не насмотрится. Хороша жинка! А вам по нраву?

**Сестрица Аленушка и братец Иванушка**

   Жили в одной деревне брат да сестра. Его звали Иванушкой, а ее – Аленушкой. Родители их померли, и остались они одни-одинешеньки на всем белом свете.

   Иванушка еще малой был, а Аленушка невестилась. Хозяйство их разрушилось, дом в упадок пришел. Ходила Аленушка по богатеям, работу черную сполняла, тем они с братом пропитание имели.

   Работала Аленушка от зари до темна, а по ночам горевала. Не просыхала ее подушка от слез. Хоть бы засватал кто. И за корявого согласна б пойти. Може с братом облегчение выйдет. Да кому она такая нужна – сиротинушка разнесчастная, похоже на то: закулюкает она на всю жизнь.

   Как-то встала Аленушка с постели среди ночи, решила судьбу свою узнать, на суженого-ряженого погадать. Первым делом иконы к стене ликом поворотила, потом крест с себя сняла и под пятку в носок положила. Вот как отчаяние ее забрало, если такой страшный грех на душу взяла! Далее что? Поставила Аленушка на стол зеркало, две свечи зажгла, налила в чашку воды, положила туда матерно обручальное колечко.

   – Суженый-ряженый, появись-покажись!

   Сказала она так, и дрожка по ней пробежала. Ждет. Терпенья набралась. Долго так сидела за столом. Потемнело зеркало. Видит Аленушка, в колечке всадник скачет. Пыль по дороге клубится, не разобрать, какой ее суженый из себя: старый или молодой, красивый или корявый…

   Вдруг чувствует Аленушка, вроде ее кто-то по щеке пощекотал, как все одно травинкой провел. Испугалась она. Из-за стола вскочила. Стоит перед ней парень, ростом может и неболыпенький, а так ладный. Чернявый да чупистый такой. Брови да ресницы густюшши-густюшши. Рубашка на нем черная, воротничок отвороченный, а там подклад белый. Теперича, пинжак был на нем, карманы – все чин чином.

   – Не меня ли, сударыня, выглядываете? – спрашивает парень.

   Растерялась Аленушка, слова вымолвить не может.

   – Это я провел ниткой по вашей щеке, имея в виду провести время с вами в уединении. Вы согласны на мое предложение?

   Аленушка кивает головой, согласна, мол, чего уж тут. Присели за стол напротив друг дружки.

   – Я, – говорит парень, – пришел потому, что более не в состоянии переносить любовь к вам и тоску сердца.

   И стал он в любезностях рассыпаться. Куда там! Таких речей Аленушка сроду не слыхивала. За разговором ноченька пролетела. На рассвете кочеты прокричали; исчез парень, только его и видели. А девица осчастливленная спать отправилась.

   Следующей ночью опять парень объявился. И следующей тож… «Видать, по нраву я ему пришлась, – думает Аленушка, – если так ему повадно стало ко мне в гости ходить».

   Проснулся как-то Иванушка ночью. Понять ничего не может. Сидит его сестрица за столом с каким-то парнем, разговоры ведет. А парень-то, видать, не тутошний, незнакомый. Пригляделся Иванушка: так это ж черт! Самый, что ни на есть. И с рогами, и с хвостом, и с копытами. Страх Иванушке кожу ободрал. До того жутко! Прижался он к холодной стенке и проплакал всю ночь.

   Кочеты пропели. Исчез парень. Сестрица к постели направилась. Кинулся к ней Иванушка, кого ты, мол, привечаешь, самого черта.

   – Помнилось тебе, братец, – говорит Аленушка. – Это нареченный мой. Он мне из колечка вышел.

   Стоит на своем Иванушка. Только не слушает его Аленушка, глаза у нее слипаются, спать хочет.

   – Уедем, – говорит, – скоро отсюдова. В дальние края. В хорошем доме жить будем.

   Легла в постель и уснула. Что тут поделаешь?

   А на ночь глядя погода разыгралась. Дождь с градом посыпал. Ветер страшенный, вот-вот крышу снесет. Вдруг постучал кто-то в ставни.

   Да так громко. Испугался Иванушка, но дверь открыл. Входит барин. Убратый по-богатому. Весь мокрющий, сухой нитки на нем нет. Перебиться просится, непогодь переждать.

   – Лезьте на печь, – говорит Иванушка, – она еще теплая.

   Залез барин на печь, хоть не барское это ложе. Пригрелся. И задремал. В полночь слышит разговор. Глаза открыл. А это девица с чертом беседу ведут, милуются да танцы танцуют. Продрало барина от страха, волосы дыбом встали. На рассвете улетел черт, а девица спать пошла.

   Свалился барин с печи мешком, ноженьки телеса его не несут. На рачках из избы подался. Боком-боком на крыльцо пробрался, да на колясочку свою залез.

   Выбежал Иванушка на крыльцо, просит барина сестренку от напасти спасти. Да где там! У барина без вина голова ширится и кругом идет. Для него Иванушкины слова, что пустой звук. Стеганул он коня. И задал ходу, только его и видели.

   Через какое-то время опять на дворе непогодить начало. Ветер завыл, молния засверкала, гром загрохотал. Страшно, аж кожу продирает. Постучали в ставни. В дверях купчина объявился. Тушистый такой. Переночевать просится. Говорит Иванушка:

   – В такую погоду хороший хозяин собаку не выгонит. Располагайтесь.

   И на печку купчину спровадил. А сам думает: «Може этот черта не сдрейфит, сестрице поможет, вон он какой дебелый».

   Вот уж полночь скоро. Аленушка с постели встала. Прихорошилась. У стола присела. И черт не заставил себя ждать: тут же объявился.

   Увидел купчина такие дела, от страха зашелся. А как на дворе развиднеться начало, кочеты запели, черт исчез, девица к постели направилась, слез купчина с печи, нога об ногу запинается. Еле-еле до тарантаса добрался. Вышел Иванушка на крыльцо, просит купчину сестрицу из беды выручить. А купчину от страха заколодило, язык в пятки ушел. Погрозил Иванушке кулачищем, лошадей стеганул кнутом, и след его простыл.

   Много ли, мало ли времени прошло, к вечеру небо затучилось, занепогодило. Дождь как из ведра полил. А Иванушка уже надеждой томится, что-то должно произойти. Заслышал шаги на крыльце и побежал открывать. Входит в избу казак, с виду небольшой, но, видать, силен, потому как в кости широк.

   – Пустите, – говорит, – переночевать, а то весь перемок.

   Молчит Иванушка, подрастерялся, купчина эка какой был, и тот труса отпраздновал, а этому навряд ли с чертом совладать. Говорит казак с недовольством:

   – Если желаешь – меня уважь, а не желаешь – я и так уйду.

   – Отчего ж, места в избе довольно, – отвечает Иванушка и направил казака на печку.

   Согрелся казак на печи и заснул скоро. Среди ночи слышит, гутарит кто-то. Никак гости еще пожаловали? Веки разлепил. Мать честная! Черт с девицей любезничает, танцует, всяко выфигуривает. Фу ты, нечистый дух! Смотрит казак, как черт крещеную душу путает, и горесть его забирает. Совсем лукавый замрачил девицу. Спрашивает она черта:

   – Когда вы нас с Иванушкой отсель заберете?

   Черт напыжился, затопорщился. Степенство на себя напустил. Даже руки за спину заложил. Кобызистый такой весь, задавалистый.

   – Позвольте мне сообразиться и завтра я буду с решительным ответом.

   «Ну, уж нет, – думает казак, – этому быть не можно».

   И скашлял.

   Испугалась Аленушка, к черту припала.

   Спрыгнул казак с печи.

   Черт говорит:

   – Разрешеньице надо спрашивать.

   – А я уж разрешился – спросил.

   – Ты кто такой?

   – Вот я тебе покажу, кто я такой, – отвечает казак, – зараз ты у меня упрыгаешься.

   Боязно казаку и весело, потому что за христианскую душу стоит.

   – Ну-ка, выметайся отседа, – говорит, – а то я тебе рога враз пообломаю.

   И двинулся на черта…

   Вдруг Аленушка на казака как кинется, руками замахала.

   – Это ты, – кричит, – уходи отседа!

   Отступился казак, руки девицы ухватил, подрастерялся малешенько. Не ожидал такого обороту.

   – Креста на тебе нет, – кричит. Схватилась Аленушка за грудь. Лап-лап. Расстроилась.

   – Нету креста, – говорит. – Вот туточки всегда был и – нету.

   И сникла, отошла в сторону в чувствах.

   Захохотал черт нечеловеческим хохотом. На казака как дыхнет. Опалил жаром с ног до головы. Не поддался казак. Парень-то он был не промах. Пошел на черта врукопашную. Ну, женишок занюханный, держись! Звизнул черта кулаком по сапатке, руку так и отсушил.

   А тот стоит, хохочет. Что ему сделается, лукавому-то?

   – Ты что в купырь лезешь?

   И как дыхнет на казака, так что тот зачерепнел весь, как черепок. Вот-вот грохнется об пол. Изловчился, однако, казак из последних сил, ухватил черта за карман пинжака да как рванет на себя: и нету кармана, оторвал.

   Завизжал черт, как боров недорезанный, за бок ухватился. Разозлился, спасу нет.

   Чувствует казак, пол из-под ног у него уходит, стены сдвигаются, не устоять ему против черта. Мозги на лоб лезут, и глаза совсем выворачивает. Понял казак: такой случай вышел, что не спасешься.

   Видит Иванушка: решит черт казака, не растерялся, закричал кочетом. Исчез черт, будто его и не было. Забормотала что-то про себя Аленушка и спать направилась.

   Слез Иванушка с полатей, начал казака отхаживать. А тот лежит, с умом-разумом не соберется, едва дух переводит, слова вымолвить не может. Насилу пришел в себя казак, когда уж солнышко взошло.

   – Спасибо, – говорит, – браток, без тебя пропадай моя головушка.

   – Это тебе спасибо, – говорит Иванушка, – что на беду такую из-за нас пошел.

   – А сестрица твоя где?

   – Да вона спит, что с ней сделается.

   – Не говори так, нехорошо это.

   Встал казак с пола, видит, спит Аленушка глубоким сном.

   Хотел перекреститься на образа, а иконы ликом к стене перевернуты.

   – Не порядок это, – говорит казак. Взял иконы, поставил их как положено.

   – Теперича надо крест нательный Аленушкин найти.

   Искали крест, обыскалися. Все углы обшарили, в каждую щелочку заглянули. Что за пропасть! Углядел Иванушка, что гайтан от креста из носка Аленушки торчит. Сняли носок, а крест у нее под пяткой лежит. Прочитал казак молитву и надел крест на Аленушку. Вздохнула та вроде как облегченно. Румянец на щеках заиграл. И то, слава Богу!

   Будят Аленушку, зовут, тормошат. Ни в какую! Спит она глубоким сном.

   – Погодь, – говорит казак, – тута надо воды непитой.

   Сходили они за водой в колодец. Побрызгали на Аленушку. Очнулась она, на кровать присела. Посмотрела на казака с удивлением. А как схватится за грудь: на месте крест. Затрюмилась, закричала навзрыд:

   – Прогневался на меня Бог, затмил мне глаза дьявол. Бедоноша я разнесчастная…

   Кинулся Иванушка ее успокаивать, да казак его остановил: пусть, мол, потужит.

   Вышли они из избы, присели на крылечке. Молчат, что говорить, когда переживанья столько. Через сколько времени затихли плач да гореванья. Как бы худого чего не вышло. Забежали казак с Иванушкой в горницу. Стоит Аленушка перед ними, как свеча, тихая да светлая. Поклонилась она каждому в ноги, прощения попросила. Потом спрашивает казака:

   – Как тебя звать-величать? За кого мне Богу молиться?

   – Завьялом, – отвечает тот.

   И смутился казак, на девицу от чего-то взглянуть не может, засобирался в дорогу. Путь-то не близкий ему надо сделать.

   Попрощался Завьял. На коня вскочил. Только с неохотой конь пошагивает. Будто не хочет от этого дома уходить. Обернулся казак. Аленушка у двора стоит, рукой ему вслед машет, а Иванушка присел около нее, скорнувшись, слезы по лицу в три ручья текут. Тронулся казак сердцем. Повернул коня обратно.

   – Теперича я так расчисляю, – говорит Завьял, – возьму-ка я вас до своих. У меня родители приветливые. Ты мне будешь вместо сестры, а ты за брата.

   Обрадовался Иванушка, на одной ножке заскакал. Аленушка раскраснелась, но брови нахмурила. Хоть предложение ей это и по душе, спрашивает:

   – На кой мы тебе нужны?

   – Знать, нужны, – отвечает Завьял, – сердцем я с вами за эту ночь сросся.

   – Поехали, – просит сестру Иванушка. Видит казак, согласна Аленушка с его предложением.

   – Поехали, – говорит, – конь под тобой.

   Ну, поехали, так поехали. Собирались в дорогу недолго. Добра-то с узелок набралось.

   Далече уже от деревни отъехали. Видят, на перекрестке дорог козленок бегает. Мекает жалобно. Видать, от стада отбился. Просит Аленушка казака взять козленка с собой.

   – Нет, – отвечает Завьял, – не надо этого делать, как бы подвоха не вышло.

   – Давайте возьмем, – просит Иванушка.

   – Ить волки его загрызут, если тут бросим.

   Слезли они с коня. Стал казак козленка ловить. А тот ему не дается. Напрямки к Аленушке бежит. По пути Иванушку так боднул, что тот на ногах не устоял, в дорожную пыль повалился. Изловчился Завьял, ухватил его за ноги. На руки взял. Тяжеленный козленок оказался. Еле-еле поднял его казак. Задурел конь, запрядал, захрапел, глазом закосил. Козленок повернул морду к казаку да как дыхнет. Жаром Завьяла обдало с головы до ног. Понял он тут, в чем дело. Бросил козленка наземь, шашку выхватил. Захохотал козленок страшным хохотом.

   – Попомните вы меня еще. И исчез.

   Испугался Иванушка, а еще пуще его Аленушка.

   Успокаивает их казак.

   – Я так и мозголовил, – говорит, – что не отпустит нас запросто так лукавый.

   Поехали они дальше. Завела их дорога в лес, в чащобу непроходимую. Слышат они, кричит кто-то, плачется:

   – Помогите, миряне! Помогите!

   – Давай поможем, – просит Аленушка, – ведь стонет человек!

   – До чего жалко, – говорит Иванушка. Упрямится казак, неспросту все это.

   Наседают на него брат с сестрой: не к лицу это, человека в беде бросать.

   – Погодьте, – говорит Завьял, – сейчас я этого бедолагу определю.

   И пистоль достал. Как только крик раздался, он в ту сторону и стрельнул. Хохот раздался страшенный, вой – мороз по коже.

   – И тут он, подлый, издевку творит, – говорит Завьял.

   И… расступился лес. А вдали степь завиднелася. Вся лазоревая, в цветах перед ними разлеглася.

   Едут они дальше. Степью любуются. Слышат, вдали колокольчики зазвенели, бубенцы; кто-то запеснячил, гармоника заиграла. Никак свадебный поезд им навстречу едет.

   – Ну, кончились страсти, – говорит казак, – счас потешемся песней звонкой.

   Повеселели Иванушка с Аленушкой, вздохнули облегченно.

   Топот конский все ближе, ближе, а никого не видать. Вдруг вихрь по дороге заклубился, столбом завился. Вот-вот на них налетит. Не растерялся казак, метнул копье и в самую середину вихря угодил. Завопил кто-то. Вихорь змеей в землю ушел. Застонала матушка, задрожала.

   Слез с коня Завьял. Взял копье, а у него весь наконечник ржавчиной покрылся, как кровяными каплями. Присел казак на землю. К нему Аленушка с Иванушкой приступились.

   – Ну, все, кончен бал, – говорит Завьял, – кажись, отстал от нас нечистый.

   Тут дождь заморосил, тихий да теплый.

   – Добрая примета, – говорит Аленушка.

   – К счастью, – подтвердил Иванушка.

   Глянул Завьял на Аленушку: отошла девка за дорогу, телом округлилась, на лице румянец, глаза блескучие, но ни слова, ни полслова не обронил.

   Доехали они до хаты Завьяла. А там их мать с отцом встречают. Поклонился казак родителям в ноги. Расцеловались они.

   – А это, – говорит Завьял, – родня наша теперича будет, нареченная.

   Приветили родители Аленушку с Иванушкой, в хату ввели. Народ тут сбежался. И пошли обнимания да целования, поздравления с благополучным прибытием, тары-бары-растабары, то о том, то о другом. А потом за стол сели и по свычаю чарочка загуляла. Выпили маленькую толику. Спрашивают Завьяла:

   – Девку-то с похода взял или убегом?

   Улыбается казак:

   – Где взял, там уж нет.

   – На свадьбу-то когда приглашения дожидаться?

   – Да у нас начистоту дело, – отвечает Завъял с неохотцей.

   Потупилась Аленушка, раскраснелась. Вона беседа какой оборот принимает.

   Говорит отец с досадой.

   – Ты что ж, сгоряча это дело произвел, навей ветер, что называется?

   Отмалчивается Завъял, тока желваки играют. Тут мать встряла в разговор. Обидно ей за свое дитятко. Спрашивает Аленушку:

   – А ты что ж молчишь? Заколодило тебя, штоль? Люб ли тебе мой сын?

   А тот грудь колесом выпятил. Во взоре благосклонность. И смех, и грех.

   – Люб, – отвечает.

   А тут Иванушка решил сестре подмогнуть.

   – Люб, – кричит, – еще как люб! И совсем Аленушку в смущение ввел. Смеются гости: смотри какой боевой, добрым казаком вырастет.

   – А ты что сидишь, хвост занес? – спрашивает отец Завьяла. – Ишь гордый какой! Слова клещами не вытащишь.

   – И она мне по душе, что тут бестолочь толочь, – отвечает казак и усом Иванушке подмигнул: мол, заставили, сестрицу-то.

   – Ну тогда, – говорит отец, – дай вам Бог слышанное видеть и желанное получить.

   Заиграли тут песню и праздник запраздничали.

**Суженая**

   Вот один казак уже действительную отслужил, а все неженатым был. Эта ему девка не так, а та – не эта. Раз его отец здорово осерчал и говорит:

   – Евлоха (а его Евлохой именовали), или зараз женишься, или я тебя вовсе не женю.

   В ответ Евлоха тока плечами пожал.

   Мать у печки расстроенная стоит, опять махотку разбила. Руки-то уже не те стали, ухват не держат.

   – Иль не вишь, – говорит отец, – старые мы уже с матерей, в доме помощница нужна. Мать запоном утирается.

   – Дюже ты тинегубый. А мне на старости с внучком побаловаться хочется.

   Вздохнул казак тяжело. Нету у него к девкам интересу. Сказать бы, что больной какой иль калека, так руки-ноги целы, глянешь на него – молодец молодцом.

   В те времена родительское слово было крепкое. Как батяня сказал, так оно и будет: не даст благословения, если с этим делом еще потянуть.

   Пошел, Евлоха на посиделки. То на одну девку посмотрит, то на другую. Все они одинаковые, и в каждой свой изъян есть. Не расцветает у казака душа, на них глядючи, не замирает сладко сердце. День ходит на посиделки, другой – никакого толку. Ни одну девку себе не присмотрел.

   Помаялся казак еще один день. Наконец не выдержал родительских укоров, оседлал коня, да поехал суженую искать.

   А это тогда считалось делом пропащим: если в своей станице девку не облюбовал, в другой – не каждому отдадут.

   Вот, значит, едет Евлоха от станицы к станице, да все без толку, ни одна ему девица не глянулась. Видит он как-то, посреди дороги девка стоит. Замухореная нечеса, лохмотами тока-тока срамоту свою прикрыла. Про таких в народе говорят: такая красава, что в окно глянет – конь прянет, во двор выйдет – три дня собаки лают.

   – Возьми, – говорит, – меня с собой.

   – А кто ты така есть, чтобы я тебя с собой брал? – спрашивает ее Евлоха. А та отвечает. Да так уверенно:

   – Я суженая твоя.

   Дрогнуло сердце у казака от таких слов, но виду не подал. Рассмеялся.

   – Больно прыткая. Ко мне девки клонились – не тебе чета и то ни одна не глянулась.

   – Поэтому тебе до сих пор никто не глянулся, – говорит девка, – что я твоя суженая, а ты мой единственный.

   «Вот заялдычила, – думает Евлоха, – твердокаменная какая». И спрашивает:

   – Почему ты знаешь, что я твой единственный?

   – А ты ко мне каждую ночь во сне приходишь.

   Повеселел казак.

   – Ну, я-то крепко сплю. Сны мне не видятся.

   А сам думает: «Не приведи, господи, чтобы такая приснилась».

   – Возьми меня, – говорит грязнуха, – не пожалеешь.

   – Еще чо! – возмутился казак. – Не возьму, и не проси. Уйди лучше с дороги.

   Молчит грязнуха, но с дороги не уходит. Глянул на нее Евлоха еще раз: уж дюже неприглядная. Запротивелось у него в душе, забрезгало.

   – Не балуй, – говорит, – уйди!

   И хотел казак ее объехать. Да никак! Не идет конь. Встал как вкопанный. Казак его в шенкеля. Да плеточкой. Не идет. Что за наваждение? Подрастерялся Евлоха. В пот его кинуло. И говорит:

   – Мне все одно с тобой не по пути.

   Повернул коня и пустил его в галоп в обратную сторону. Сколько проскакал, перешел на рысь. В досаде весь. Что за случай такой вышел?

   Увидел казак, церковные купола виднеются: знать, станица недалече. «Доеду, – думает, – до станицы, в церкву схожу. И попрошу Господа дать мне встренуть свою суженую».

   Доехал. Солнышко блескучее. Погода играет.

   Подъехал к храму. С коня слез, на себе порядок навел. Заходит: народу никого. Полумрак в церкви, тока свечи горят. Тихо. Спокойно на душе у казака. Упал Евлоха на колени перед иконами, долго молился. Вдруг слышит за спиной шепоток. Оглянулся: нету никого. А голос-то вроде бы знакомый будет. Никак опять она – та самая замараха. Страсть вошла в казака, заиграла в его душе досада.

   Вышел из храма. Ветер тут поднялся. Пылью Евлоху обдал. Солнце тучей заслонилось. Зябко казаку стало, нехорошо.

   Вскочил казак на коня и поехал прочь от станицы. Мысли тревожные. Долго так ехал. Очнулся. Вроде смеркаться начало. Надоть где-то на постой останавливаться. Видит, копешка сена стоит. Чем не ночлег? Зарылся в сено, веки смежил. Не идет сон. А тут луна вышла полная. Льет белым светом на всю округу, не дает покоя.

   Вдруг слышит, сено зашелестело. Чой-то? Може конь? Потом чья-то рука по лицу его – лап. Раз да другой. Занемел Евлоха. Ни рукой двинуть, ни слово вымолвить. И голос. Суженый мой… Ведьмака! Схватил казак шашку и махнул сгоряча. Застонала дева, заохала. Закричала-запричитала. Зацепил ее, видать, казак шашечкой-то.

   Слетел Евлоха с копешки. Колотит его. Холодным потом обдает. Призвал коня. В сторону копешки не оглядывается. Боязно. На коня. И в бега.

   Остальную дорогу сделал наугад.

   Долго кружил по перелескам да по займищам, пока сердце свое успокоил. Ишь, какая ведь повадливая девица оказалась! Видит, вроде костерок на поляне горит. И люди об чем-то гутарят. Подъехал потихоньку. Прислушался. Понял – разбойники добычу дуванят. Двое себе злато-серебро поделили. А молодому девица досталася. Молодой разбойник возмущается: зачем ему такая девица, иль в воровстве он не первым был. И до драки дело доходит. Вот-вот сцепятся.

   – Ну, коль она тебе не нужна, то мне в самый раз, – прошептал Евлоха.

   Вынул он пистоль и стрелил вверх. Крикнул-гукнул. Разбойники наутек кинулися. А казак девицу подхватил на коня и айда прочь от этого места.

   Едут они. Девица припала к нему. Сердечко бьется часто, как у воробья. Разнежился казак. Обнял ее покрепче. И подумал: «Вот она, суженая моя». Слышит, она ему шепчет: «Говорила я тебе, что твоя суженая». Ба! Да это ж та самая девка-грязнуха. Да что ж за напасть такая, Господи! Ссадил казак ее с коня, словно мешок сбросил.

   – Доняла ты меня измором!

   И опять в бега кинулся. Долго ли, коротко ли времечко прошло, вернулся Евлоха домой насупоренный. Не нашел, кого искал. Мать его встречает. Посмотрела на него, головой покачала. Что тут говорить, единственное дитятко и так понять можно.

   Видит казак, девица по двору ходит. Спрашивает у матери:

   – Кто така?

   – Да работница наша, Маруня. Сиротинка. Пришла к нам в хату. Грязнуха-грязнухой. А счас гляди, какая чисторядная. Работа в ее руках так и горит.

   А Евлоха уже матерю не слушает. Насторожился. Подошел к девице. Уставился на нее. Желваками играет. Плеточкой помахивает.

   – Кто така, говори?!

   – Кто така, не знаю, – отвечает она, – сирота я, с малолетства по людям ходила.

   Смекает Евлоха, голос вроде бы не тот, что у грязнухи. Та натужно говорила, а эта будто колокольчиком прозвенела. И лицом Маруня бела, и чисторядная, и скромная, видать, вишь глаза потупила.

   Отошел Евлоха от Маруни, говорит матери:

   – Ничего девка, узюмная.

   Матери эти слова по сердцу.

   – Мне Маруня уже как родная стала, – говорит мать. – Ты к ней приглядись. Как раз по тебе девка, право слово.

   Махнул казак рукой: мне, мол, все равно. И пошел с дороги прилечь.

   Вечером отец с поля приехал.

   – Женить его надо. Нечего более с этим делом тянуть.

   Сказал, как отрубил.

   Собрал отец на совет всех родственников. Позвали Евлоху. Отец спрашивает его:

   – Кого за тебя будем сватать?

   Отвечает Евлоха:

   – Лишь бы для вас была хороша, а для меня будет.

   – А ты своего ума-разума приложи.

   – Я из вашей воли не выхожу.

   – Ишь, какой слухменый сделался! Иди! Совет будем держать.

   Судили-рядили. Так-сяк. Жена не сапог, с ноги не снимешь. Порешили: пусть жребий тянет. Ему век вековать. Пусть на себя и пеняет, если что не так.

   Написали на бумажечках имена всех девок станицы, что на выданьи. Мать настояла, чтоб и Маруню туда тож вписали. Свернули бумажечки трубочками и положили в красный угол, под иконами.

   На том и разошлись.

   Чуть свет подняли Евлоху родители. Помолились. Взял Евлоха жребий. Развернул. А там Марунино имя вписано. Вдруг защемило у казака сладко на сердце. Облегчение на душе. Как будто ждал этого.

   Сели за стол. Маруню пока не зовут. Отец покрякивает. Мать довольна: по ее получилось.

   – Ну, что ж, – говорит отец, – она с виду приятная, походка ровная, да не дура, кажись.

   Мать ему вторит:

   – Невеста справная, работящая и смирная.

   Посмотрела на хозяина: чтой-то он насупурился. И слукавила:

   – Мужу жена будет хороша, да мне, грешной матери, каков почет будет?

   И всплакнула. Клюнул на приманку отец. Согбенную спину разогнул. Бороду огладил. Глазищами сверкнул. Есть еще сила в казаке. На убыль не вся ушла.

   – Не бойся, старуха, я-то на что? Из-под моей руки не вырвется.

   И хлоп! – по столу кулаком. А матери того и надобно.

   – Ладно, – говорит. И вздохнула облегченно.

   Евлоха рядом стоит. Кубыть это дело его не касаемо.

   Позвали Маруню. Спрашивают: согласна ли за Евлоху замуж иттить?

   Та глаза потупила и отвечает: согласна, мол. И вышла. С достоинством, кубыть дело это для нее давным-давно решенное.

   В день свадьбы поехали молодые в церковь. Там батюшка их спрашивает:

   – Дружелюбно ли венчаетесь?

   – Дружелюбно, – отвечает Евлоха.

   – Дружелюбно, – вторит ему Маруня.

   Стали колечками меняться. Сомнения опять запали Евлохе в душу: увидел он шрам на руке у своей невесты.

   Приехали домой. Пир горой. А Евлоху беспокойство маит. На Маруню не смотрит: ему не до веселья. Наконец, решился выйти. Дружка его не пускает: не положено.

   – Да мне, – говорит Евлоха, – до ветру. Я мигом. А то нутро от угощений себя оказывает.

   Побежал он в баню. Обыскался. А все одно нашел, что искал. Вот они, лохмоты Марунины. Они самые. Бросил их Евлоха в печь. И вернулся к невесте.

   Та спрашивает:

   – В бане был?

   И улыбается.

   – Ага, был.

   – Говорила я тебе, что суженая я твоя.

   Вздохнул Евлоха с облегчением, тож разулыбался.

   – Да, видно наши жизни с тобой давно пересеклись.

   Тут гости горько закричали.

   И поцеловались они.

   Правду в народе говорят: суженую конем не объедешь. Кому кака доля достанется, так все и сбудется. И кому на ком жениться – как показано, так и будет. Хоть вы за тридевять земель будете – ничего: сыщете друг друга.

**Султанская дочь**

   При царице это было, Катерине. Объявил турецкий султан Махмет войну. Позвала она на помощь казачков. Защитите, мол, землю русскую от бусурманской напасти. Дело привычное. Собрались казачки всем миром – и млад, и стар и пошли на защиту разлюбезного отечества.

   И был среди них парень молодой по имени Родион. Необстрелянный еще. Тока-тока из малолеток вышел. И случилась с ним такая вот история.

   Хотелось парню себя показать, перед товарищами утверждение заиметь. Рвался казачок то в разведку, то провиант у неприятеля отбить, на худой конец, в дозоре постоять.

   Говорили ему станичники, вразумляли:

   – Погодь, парень. Форсу в тебе еще много. Жизнь протянется, всего достанется.

   Держали Родьку в обозе. Вместе с казаками, что в возрасте были, с перестарками.

   Переживал Родька: никак его станичники за труса почитают. Не выдержал, ушел, не спросясь, в тыл к противнику.

   Думает: «Вот возьму в плен султана турецкого иль, по крайности, его визиря. Простят тогда мой грех и награду дадут».

   Недалече ушел Родька от наших позиций. Пикнуть не успел, как был схвачен янычарами.

   Доставили Родьку прямо во дворец к самому Махмет-султану. Под его грозные очи. «Эх, – думает Родька, – виноватый я кругом. Пропадать, так не спросту. Ну, погодьте, гололобые». Взял под козырек да как гаркнет:

   – Здорово, братцы!

   Смотрит на Родьку султан, удивляется. Казаки в плен не даются, а этот, почитай, что сам пришел.

   – Зачем, – спрашивает Махмет, – к нам пожаловал?

   Родька сапожок вперед выставил: эх, была ни была.

   – Хотел, – отвечает Родька, – тебя в полон захватить и до наших довести.

   Говорит Родька, а у самого сердце, как заячий хвост колотится.

   Загоготали гололобые, и сам Махмет-султан заулыбался. Видно, понравился ему Родька, безрассудная головушка. Молод да горяч, вот таких бы молодцов ему поболе. Хлопнул султан в ладоши. Принесли яства диковинные, вина заморские.

   – Садись, – говорит Махмет-султан, – отведай с нами.

   – Это можно, – отвечает Родька. И сел рядом с султаном. Стали они угощаться. Наелся Родька, пузо трещит.

   Говорит ему Махмет-султан:

   – Родивон, переходи ко мне служить, я тебе за это сто рублей положу.

   – Сто рублей – деньги не малые, сто рублей сразу не наживешь, – отвечает Родька. – Тока я не согласный свою отчизну продавать.

   И этот ответ пришелся по душе Махмет-султану.

   Скоро за чайком да цигарочкой совсем сошлись.

   – Хочешь, – говорит султан, – дочь свою любимую, Айлюк, замуж за тебя отдам?

   Хлопнул в ладоши.

   Дочь в залу вошла. Ничего. Красовитая. Чернявая. Да уж дюже худа. Как взглянула на Родьку, так и глаз своих ни разу не отвела от него.

   А Родька чо? Родька ничо. Подбоченился. Знамо дело, приятно, когда на тебя девка глаза таращит.

   – Ну, что, Родивон, – спрашивает султан, – оболваним это дело?

   – У меня, – говорит казак, – в станице девка на примете имеется, так что не обессудь.

   Заплакала султанова дочь, из залы выбежала. Нахмурился султан и говорит:

   – Коли дело наше с тобой расходится, посиди малость в тигулевке, поостынь.

   Посадили Родьку в тигулевку. Сидит он, томится. Вдруг кто-то через окошко ему бумажку кинул. Развернул Родька бумажку, а это письмо.

   От самой дочки султановой.

   Пишет ему Айлюк, так, мол, и так, полюбила я тебя до беспамятства. Тока о тебе и думаю, ночи не сплю. Если люба я тебе, ответь, а если нет, то не тревожься и меня не май.

   Посидел Родька, подумал. Что делать? Надо из положения выходить. И решил казак покривить душой.

   Нашел уголек и нацарапал ответ. Если, де, люб я тебе, помоги мне утечь отседа. Подадимся в наши края. Там нам самое место. Будешь мне женой, а я тебе мужем. А в сердце ты мое запала еще с первого взору.

   Только казак ответ писать закончил. Видит через решетку рука просовывается. Сунул Родька свое послание в ладонь. И вздохнул с облегчением. Сердцем повеселел. Вот она, надежа, заблестела вечерней звездой.

   Через сколько времени получает Родька записку. Жди, мол, в полночь.

   Измаялся Родька, места себе не находит. Дождался наконец полночи.

   Замок щелкнул, дверь открылася. Вбежала Айлюк в тигулевку. К Родьке припала. Радуется. Плачет.

   А Родька ее торопит. Время, де, не терпит. Вышли они из тигулевки. Стража спит вповалку.

   Вскочили они на горячих коней. И в бега вдарились.

   Всю ночь скакали. Звезды поблекли. Остановила дочь султана своего коня.

   – Послушай, – говорит, – нет ли за нами погони.

   Слез Родька с коня, ухом припал к земле. Топот лошадиный слышит. Гудит земля.

   – Идет, – говорит, – за нами погоня. Вот-вот близехонько будет.

   Вытащила Айлюк гребень и бросила назад через левое плечо. И вырос лес сзади них. Деревья вековые стволами друг о дружку трутся. Поскрипывают. Ни пройти, ни проехать. Чудеса чудесные. Повеселел Родька. Улыбается ему судьба, до дому ведет. Вскочил на коня. И поехали они дальше.

   Время уже к полдню клонится. Пали у них кони. Пошли они пешки.

   Видит Родька, никак впереди наш стан. Казачки в круг расположились. Дело какое-то обсуждают. Обрадовался Родька. Оглянулся, сердце замерло. Погоня совсем близехонько. Бросил Родька дочку султанову и к своим побег.

   – Братцы, – кричит, – братцы! Помогите!

   Да где там! Не слышны казачкам крики Родьки, Подоспела погоня. Схватили Родьку, связали и бросили поперек седла, как мешок. Вот она, беда. Вот оно, горе-горькое. Казнят теперь Родьку, лишат его молодой жизни. Плачет Родька, слезами умывается. О себе горюет.

   Предстал Родька опять перед султановыми очами. Глядь, вводят Айлюк. Говорит султан:

   – Казачка не трожьте. Не его вина, что в бега вдарился. А вот дочь моя виноватая.

   Бровью повел.

   Сорвал палач одежды с Айлюк. И стал ее тело белое истязать: кнутом бить, огнем жечь.

   Отвернулся казак. Не в силах смотреть.

   – Смотри, казачок, смотри. Впредь неповадно будет бегать – говорит Махмет.

   Султанская дочь ни звука не проронила, ни охов, ни вздохов от нее не слышали. Впала в беспамятство. Утащил ее палач. А Родьку в тигулевку увели.

   Сидит Родька в тигулевке, совесть его мучает. Душа томится: нехорошо получилося. Бросил султанскую дочь на растерзание. На произвол судьбы.

   Много времени прошло. Пришла к Родьке записка от султанской дочки, мол, де, жди полночи.

   Обрадовался Родька, знать, простила. В полночь дверь открылася. Айлюк на пороге. Кинулся Родька к ней, прощения просит. Султанская дочь к нему ластится, об том, мол, и думать позабыла.

   Вышли они из тигулевки. Вскочили на коней – и в путь. Утро наступило. Говорит султанская дочь:

   – Припади к земле, нет ли погони.

   Слез Родька, припал к земле. Дрожит земля-матушка. Птицы кричат. Звери рычат.

   Вытащила Айлюк платок и бросила через левое плечо.

   Разлилось позади озеро. Волны огромные по нему ходят, о берег бьют, не подступишься.

   Ударили Родька да султанская дочь в шенкеля. И поскакали дальше.

   Запалили коней. Бросили, бегом побежали. Вот и стан казачий. Видно, как люди около костров гурбятся, обед себе, видно, варят. Обрадовался Родька. Хоть на этот раз уйдет. Оглянулся, батюшки мои! А погоня совсем рядом.

   Забыл Родька обо всем на свете. Одна мысль – до своих добежать. Бросил султанскую дочь. И к своим.

   – Братцы! – кричит. – Братцы! Выручайте!

   Да где там! Не слышны казачкам родькины призывы. Схватили Родьку, связали и обратно к султану доставили.

   И опять та ж картина повторилась. Истязали Айлюк до умопомрачения. Крепился казак, однако ж, изнылась его душа.

   – Не надумал еще, казак, во услужение ко мне иттить? – спрашивает султан.

   – Нет, не бывать тому, – отвечает казак.

   – Ну, что ж, – говорит Махмет, – пришло время твою жизнь забрать.

   Посадили Родьку в тигулевку. Не находит себе места он, султанская дочь из головы не идет. В кратких снах является, как бы совесть его. Тянет к нему руки, плачет.

   Вдруг в полночь дверь отворяется. Айлюк его к себе манит.

   Встал казак, понурясь, вышел из тигулевки. Спит стража. И конь стоит. Говорит ему султанская дочь. А лицо строгое, неулыбчивое.

   – Вот тебе, казак, конь, возвертайся к своим один.

   – Нет, – отвечает Родька, – без тебя не могу. Не будет мне дороги без тебя в этой жизни. Если можешь, прости и поедем вместе.

   Смотрит на Родьку султанская дочь. То укоризна в глазах, то любовь.

   Эх, что тут думать! Вскочил Родька на коня. Подхватил султанскую дочь. И айда – к своим. Припала к нему Айлюк. Доверие заимела.

   – Хорошо мне, – говорит. – Никогда так в жизни не было.

   – Погодь, – отвечает Родька, – вот к своим доберемся. То ли еще будет.

   Далече отъехали. Пал их конь. Пошли они пешки. За руки взявшись. Чу, погоня опять.

   – Сделай что-нибудь, – просит Родька. – Сотвори преграду какую-нибудь.

   – Не могу, – отвечает Айлюк. – Нет боле у меня ничего такого, чтоб чудо сотворить.

   Видит Родька, никак стан казачий. Схватил Айлюк на руки и к своим побег.

   – Братцы! Братцы! – кричит.

   Услышали его казачки. Мигом на коней вскочили. Вот оно, избавление.

   Обернулся Родька – и погоня, вот она, рядом.

   Впереди султан на белом коне. Увидели турки, что казаки на выручку поспешают, наставили на беглецов ружья. Загородил собой Родька Айлюк. Стоит на земле твердо. Любовь ему уверенность придает.

   Дали залп турки со всех ружей. Только неведома сила пули от Родьки отвела. Кому эта сила неведома, а кому ведома.

   Сотворилось чудо – на Родьке ни единой царапины.

   Обрадовался Родька, за себя гордый. Что сумел себя превозмочь. Тепло на душе, хорошо. Любовь таматко купается, плещется.

   Обнял казак султанскую дочь, поцеловал. А тут казаки-станичники подоспели. С возвращением Родьку поздравляют, с молодой женой. Шутки шутят. Да не обидно Родьке, радостно.

**Якуня и Матюша**

   Ехал казак Якуня по дороге, песню напевал. Ехал свою судьбу на этом свете определять.

   Степь. Раздолье. На душе птицы поют. Видит: на перекрестке дуб стоит, над дубом мужик. Здоровенный такой. Из веревки петлю вяжет. Плачет. Рыдает. Толстую веревку, как паутинку, рвет. Подъехал Якуня ближе, с седла перевесился.

   – Здорово, – говорит, – были. Иль в чем подмогнуть?

   – Да вот, – отвечает мужик, – петлю не могу Навязать, веревка, видать, гнилая попалась.

   – Этому горю подсобить можно, – говорит Якуня. – Тока я должон тебе сообщить: не веревка у тебя старая, а ручищи твои силы непомерной.

   Взял веревку у мужика, завязал петлю.

   – Ну что ж, – говорит, – никак, к звездам поближе собрался?

   – Да, – отвечает мужик, – собрался. Собрался из этой жизни уйти, потому как не везет мне в ней совсем.

   – Тю, – говорит Якуня. – А мне везет так, что от этого везенья в бега вдарился. Надоело. Неинтересно совсем. Скучно.

   У мужика аж глаза на лоб. Первый раз в жизни человека видит, везучего во всем.

   – Возьми, – говорит, – меня с собой. Что тебе, одному, поди, скучно.

   – Мне, – говорит Якуня, – нескучно. А вот тебе невесело. Поедем, за товарища будешь.

   И коня с места тронул. Конь враз так и пал. Поднялся Якуня с земли, посмотрел на издыхающего коня и говорит:

   – Тебя как звать-то, величать?

   Мужик отвечает:

   – Матюша.

   А сам глаза отводит.

   – Говорил я тебе, невезучий я. И за веревку опять схватился.

   – Ну ничего, – говорит Якуня, – друг ты мой, разлюбезный Матюша. Посмотрим, чья сила сильнее. Дюже мне это интересно узнать.

   Стали они на распутье. Куда идти?

   – Пойдем, – говорит Якуня, – направо. У меня душа туда тянет. И ноги сами идут.

   Матюша спорить не стал. Пошли они. Идут-идут. Дорога в лес завела. Ничего, идут по лесу. А дорога уже тропочкой вьется. Якуня вперед идет. Матюша сзади и бухтит себе под нос:

   – Ох, накликал я на тебя беду.

   А Якуня ему в ответ:

   – Ничего, все равно моя возьмет.

   Вышли они на опушку. На опушке дом стоит. Не дом, а хоромы, резной весь, ну чисто дворец. А перед домом забор. Высоченный. Доска к доске пригнана.

   – Я говорил тебе, мой друг Матюша, что я – человек везучий.

   Ходили-ходили вокруг забора. Калитки нет.

   – Может, – говорит Матюша, – пошли отседа подобру-поздорову. Здесь дело нечисто.

   – Нет, – говорит Якуня, – не в моей привычке отступать.

   Вынул шашечку, секанул по забору. Только щепочка отлетела. Секанул второй раз – еще щепочка.

   А забор, как каменный, как стоял, так и стоит.

   – Погоди, – говорит Матюша.

   И плечом навалился. Покраснел от натуги. Силища немалая. Хоть бы одна доска треклятая с места сдвинулась. Невезучий, словом, Матюша.

   – Погодь, – говорит Якуня, – тут дурью не возьмешь, это дело обмозговать надо.

   Вынул он кисет, свернул цигарку, запалил и плечом в задумчивости к доске самой узкой с сучком неотесанным притулился. Забор на две части и разошелся.

   Друзья-товарищи – что тут думать! – бегом в дом. Якуня радуется – со мной не пропадешь! А Матюша хмурится, в себе еще не уверенный.

   В дом зашли – ни души. Все красиво убрато. Зашли они в залу – стол, скатерочка на нем и больше ничего.

   – Эх, – говорит Матюша, – хоть бы хлебушка кусочек да воды глоточек.

   Глядь – на столе хлеба кусок да ковш воды стоит.

   Якуня сообразил, что скатерочка непростая, и говорит:

   – Это тебе хлеба кусочек да воды глоточек, а мне баранью ногу с чесноком, да блинцы с каймаком, да бражки-кислушки кадушку.

   В один миг и Якунино желание исполнилось.

   Поели они, попили. Хорошая скатерочка угощала на славу.

   Дело к вечеру. Куда идти? Решили ночь переночевать. А там видно будет. Може, хозяева объявятся.

   Говорит Якуня:

   – Дело такое, куда повернется, не знаем. Давай попеременки спать. Ты ложись, я покеда покараулю.

   Завалился Матюша на пышные перины и тотчас захрапел. Притомился, видно, за день. Якуня ходил-ходил вокруг да около. Глаза слипаются. Да товарища совестно будить, до первых петухов еще далеко.

   Прикорнул около кровати и не заметил, как его в сон склонило.

   А на рассвете прилетело в дом чудище поганое Мисюрь на кошме-самолетке. Повел носом – русским духом пахнет. Подошел к кровати. А там Матюша сладко посапывает. Разъярился тут чудище, стал Матюшу душить, стал его давить, аж кости у Матюши затрещали.

   Не разобрал Матюша спросонку, думал, что с ним кто-то балует, махнул рукой. Чудище с кровати кубарем слетел, и дух из него вон. Проснулся тут Якуня, вскочил, шашкой размахивает.

   Видит: чудище лежит. Синий, как пуп. Смрадные пузыри пускает. Приосанился Якуня, шашечку в ножны вложил. Подошел к кровати. А на кровати Матюша лежит, носом трели выделывает. Стал будить его Якуня. Еле-еле растолкал. На чудище показывает.

   Матюша аж затрясся весь, до чего напугался.

   – Давай, – говорит, – мой друг Якуня, отсюда деру! А что, если этот чудище не один? У него еще братья имеются.

   Якуня с ним не соглашается.

   – Этот дом теперича наш. И бояться нечего. Я, – говорит, – везучий. Моя сила над твоей верховодит.

   Вдруг слышат: кто-то плачет, то ли стонет под полом.

   – Во, – говорит Матюша, – говорил я тебе, не доведет нас до добра твое везение.

   – Ничего, – говорит Якуня, – семь бед – один ответ.

   Шашечку острую вытащил.

   – Открывай, – кричит, – люк, счас и этого определим.

   Потянул Матюша за кольцо, крышку откинул.

   – Выходи, – кричит Якуня, – кто там? И…

   Выходит оттуда девушка. Красоты неописанной.

   Как увидела Якуню с шашечкой, так и сомлела. На пол повалилася. Якуня мешкать не стал. Понял, что судьба его определилась. Шашечку востру в ножны. Девицу на руки. И Матюше говорит:

   – Прощай мой друг Матюша. Любил я тебя. А теперича так жизнь повертается, что пора нам расставаться.

   Сел на кошму-самолетку.

   – Прости, – говорит, – и прощай. Заждались меня в станице. Оставляю тебе скатерть-самобранку да дом в придачу.

   С этими словами и улетел. Только его и видели.

   Стоит Матюша. Глазами моргает. Ничего в толк не возьмет. Слова сказать не может, до того обидно.

   – Эх, невезучий я человек, нет мне места на этом свете.

   Вдруг слышит: зовет его кто-то. Поворачивается. Из подпола еще девица выходит, краше прежней.

   – Помоги, – говорит, – мне выбраться, суженый мой, я тебя всю жизнь ждала.

   А Матюша стоит столбом, ни жив, ни мертв. Счастью своему поверить не может. Это, думает, снится, такое в жизни не бывает. А девица тем временем подходит, в пояс кланяется.

   – Иль не люба я тебе, Матюша, тогда сестрой буду названной.

   – Люба, – говорит Матюша, – ой, до чего люба. Будь мне супружницей верной.

   Взяли они скатерть-самобранку и из того дома поганого ушли.

   Свадебку сыграли. И жили счастливо до глубокой старости. И Якуня со своей супругой тоже хорошую жизнь прожили.

   По книге "Казачьи сказки" Волгоград, "Ведо", 1992